
ЕВГ. ПЕРМЯК
ДЕДУШКИНА КОПИЛКА



Евг. Пермяк

Дедушкина копилка

Сказки

Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия“. 1972

Р2
П27

Рисунки

А. СЕМЕНЦОВА-ОГИЕВСКОГО

и З. ВОРОНЦОВОЙ



Дедушкина копилка

Когда бабушка внучкой была, она очень сказки любила. А сказки ей дедушка рассказывал.

Прибежит, бывало, внучка к дедушке и:

— Расскажи, дед, сказку!

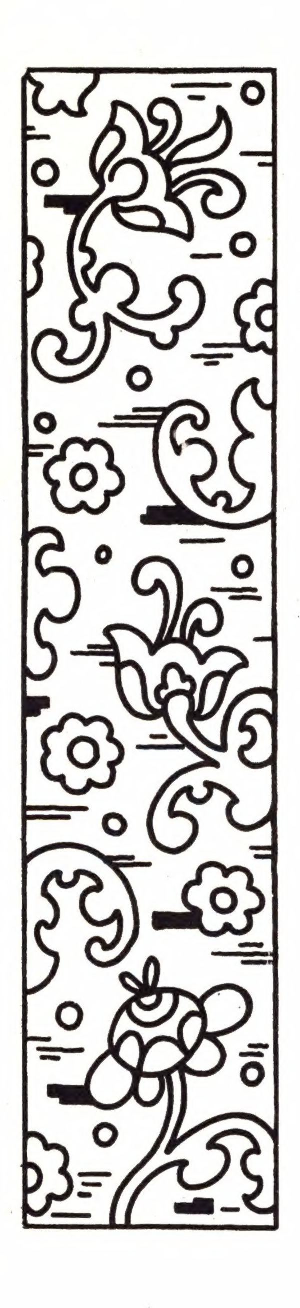
А он:

— Какую?

А она:

— Какую хочешь.

Тогда дедушка велит внучке подать деревянный точеный грибок, откроет он у грибка крышку-шляпку и начнет в грибке рыться. А в грибке всякой всячины много. И перышко гусиное и пуговка радужная, и от очков обломышек, и бело-



яровое зернышко. Переберет дед всякую всячину, пересмотрит и сказку сказывать начнет.

Как-то внучка спрашивает дедушку:

— А зачем ты грибок просишь, как сказку начать сказывать?

А дедушка ей и отвечает:

— Это не грибок, внучка, а копилочка.

— Какая копилочка, дед?

— Сказочная. Дедушкина. Я ведь, внучка, тоже внуком был, и мне тоже дед сказки рассказывал. Придумает он сказку или услышит, сейчас же в копилочку безделушку-памятку положит, чтобы сказку не позабыть. Про гуся сказка — гусиное перо. Про свечку — огарочек, про белояровую пшеницу — зернышко.

И ты так, внучка, делай, когда бабушкой будешь. Тебе и завещаю эту дедушкину копилочку.

Так и делала внучка, когда бабушкой стала. Свои памятки в дедушкину копилку добавляла. А теперь эта копилка нам в наследство досталось. И мы это наследство не только бережем, а по мере наших сил умножаем.

Вам достанется эта копилка — то же самое делайте. А сейчас давайте смотреть, что в этой копилке лежит.

Кто мелет муку

КАК ОГОНЬ ВОДУ ЗАМУЖ ВЗЯЛ



ЫЖИЙ РАЗБОЙНИК Огонь пламенно полюбил холодную красавицу Воду. Полюбил и задумал на ней жениться.

Только как Огню Воду замуж взять, чтобы себя не погасить и ее не высушить? Спрашивать стал. И у всех один ответ:

— Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе пара? Ты что? Зачем тебе холодная Вода, бездетная семья?

Затосковал Огонь, загоревал. По лесам, по деревьям пожарами загулял. Так и носится, только рыжая грива по ветру развевается.

Гулял так Огонь, горевал Огонь да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали.

Огонь в ноги ему пал. Низким дымом стелется. Из последних сил синими языками тлеет.

— Ты мастеровой человек, ты все можешь. Хочу я разбой бросить, хочу я своим домом жить. Воду замуж взять хочу. Да так, чтобы она меня не погасила и я ее не высушил.

— Не горюй, Огонь. Сосватаю. Поженю.

Сказал так мастеровой человек и терем строить стал. Построил терем и велел свадьбу играть, гостей звать.

Пришла с жениховой стороны огневая родня: тетка Молния да двоюродный брат Вулкан. Не было больше у него родных на белом свете.

С невестиной стороны пришел старший братец Густой Ту-



ман, средний брат Косой Дождь и младшая сестричка Воды — Ясноглазая Роса.

Пришли они и заспорили.

— Неслыханное дело ты, Иван, задумал, — говорит Вулкан и пламенем попыхивает. — Не бывало еще такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал.

А мастеровой человек отвечает на это:

— Как же не бывало! Косой Дождь с огневой Молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются.

— Это все так, — молвил Густой Туман, — только я по себе знаю: где Огонь, где тепло, там и редеть начинаю.

— И я, и я от тепла высыхаю, — пожаловалась Роса. — Боюсь, как бы Огонь мою сестру Воду не высушил.

Тут Иван твердо сказал:

— Я такой терем построил, что они будут в нем жить да радоваться. На то я и мастеровой человек.



Поверили. Свадьбу стали играть.

Пошла плясать Молния с Косым Дождем. Закурился Вулкан, засверкал ярким пламенем, в ясных глазах Росы огневыми бликами заиграл. Густой Туман набражничался, на покой в овраг уполз.

Отгуляли гости на свадьбе и восвояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем ввел. Показал каждому свои

хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни да сына-богатыря.

Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать Вода от отца Огня сына-богатыря.

Хорошим сын богатырем вырос. Горяч, как родимый батюшка Огонь. А облик дядин — густ и белес, как Туман. Важен и влажен, как родимая матушка Вода. Силен, как Вулкан, как тетушка Молния.

Вся родня в нем своего кровного узнает. Даже Дождь с Росой в нем себя видят, когда тот стынет и капельками на землю оседает.

Хорошее имя дали сыну-богатырю: Пар.

На телегу сядет Пар-богатырь — телега его силой покатится да еще сто других телег поездом повезет.

На корабль ступит Пар-чудодей — убирай паруса. Без ветра корабль катится, волну рассекает, паровой голос подает, корабельщиков своим теплом греет.

На завод пожалует — колеса завертит. Где сто человек работали — одного хватает. Муку мелет, хлеб молотит, ситец ткет, людей и кладь возит — народу помогает, мать, отца радует.

И по наши дни живут Огонь с Водой в одном железном котле-тереме. Ни она его не гасит, ни он ее высушить не может. Счастливо живут. Нескончаемо. Широко.

Год от году растет сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную Воду за жаркий Огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.

КАК САМОВАР ЗАПРЯГЛИ



РО ОДНО и то же разные люди по-разному сказки сказывают. Вот что я от бабушки слышал... У мастера Фоки, на все руки доки, сын был. Тоже Фокой звали. В отца Фока Фокич дошлый пошел. Ничего мимо его глаз не ускользало. Всему дело давал. Ворону и ту перед дождем каркать выучил — погоду предсказывать. Сидит как-то Фока Фокич — чай пьет. А из самовара через паровик густо пар валит. Со свистом. Даже чайник на конфорке вздрагивает.

— Ишь ты, какая сила пропадает! Не худо бы тебя на работу приставить, — говорит Фока Фокич и соображает, как это сделать можно.

— Это еще что? — запыхтел-зафыркал ленивый Самовар. — С меня и того хватит, что я кипяток кипячу, чайник грею, душеньку песней веселю, на столе красуюсь.

— Оно верно, — говорит Фока Фокич. — Только песни распевать да на людях красоваться всякий может. Неплохо бы тебя, Самовар, хлеб молотить приспособить.

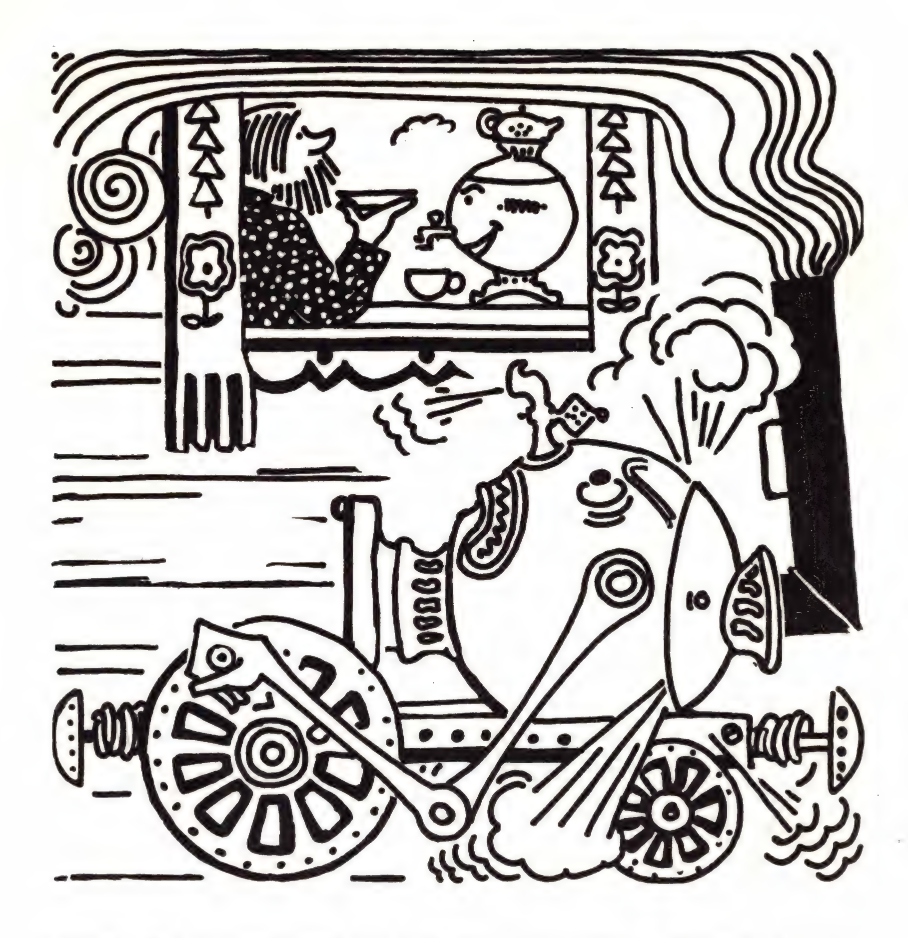
Как услыхал это Самовар — вскипел, кипятком плеваться начал. Того гляди убежит. А Фока Фокич сгреб его да на молотильный ток вынес и давай там к нему рабочее колесо с хитрым рычагом пристраивать.

Пристроил он колесо с хитрым рычагом и ну Самовар на полный пар кипятить. Во всю головушку Самовар кипит, колесо вертит, хитрым рычагом, как рукой, работает.

Переметнул Фока Фокич с рабочего колеса на молотильный маховичок приводной ремень и:

— Эх, поспевай, не зевай, снопы развязывай, в молотилку суй.

Стал Самовар хлеб молотить, паровой машиной прозы-



ваться. А характер тот же остался. Сварливый. Того гляди от злости лопнет — паром обварит.

— Вот ты как! — говорит Фока Фокич. — Погоди, я тебе работенку получше удумаю.

Долго думать не пришлось. Захромала как-то у Фоки Фокича лошадь. А в город ехать надо. И надумал Фока Фокич Самовар запрячь.

Повалил Фока Фокич Самовар набок. Загнул ему трубу, чтобы она в небо глядела. Приладил под него крепкие ко-

леса. Отковал хитрые рычаги-шатуны да и заставил их колеса вертеть. А чтобы Самовар со злости не лопнул, добрым железом его оковал. Потом прицепил к Самовару тарантас, а к тарантасу телегу, загрузил чем надо, поднял пары и:

— Эх, поспевай, куда надо поворачивай. Пару поддавай!

Стал Самовар людей и поклажу возить — паровозом прозываться. А характером еще злее стал.

— Ну ладно, — говорит Фока Фокич. — Я тебе не такую работу удумаю.

Опять долго ждать не пришлось. Лето безветренное выдалось. Паруса на кораблях, как трава в засуху, сникли. А за море ехать надо. Хлеб везти. Тут-то и надумал Фока Фокич Самовар на корабль перенести.

Сказано — сделано. Трубу еще выше нарастил. Самовар в трюм поставил. Корабельные колеса смастерил, а к ним шатунные рычаги приспособил. И:

— Эй, не зевай, успевай! Рулем рули — куда надо правь.

Начал Самовар людей да товары за море возить — пароходом прозываться. Тут-то уж он вовсе послушным стал. Уступчивым.

Вот как оно дело-то было. Другие, может быть, и по-другому рассказывают. Только моя бабушка врать не будет. Сама она это все видела и мне пересказала. А я — вам.

КТО МЕЛЕТ МУКУ



ИЛ в мельничном ларе мучной червь Дармоед. Наелся он как-то свежей муки, выполз на край ларя, зевнул и спросил:

— А кто мелет мукv?

— Как это — кто? — проскрежетал жернов. — Я!

— Нет, я, — проскрипела на это деревянная рабочая шестерня. — Я кручу ось, на которой ты, жернов, сидишь. Значит, я и мелю муку.

— Это еще что? — заспорил главный вал мельницы. — На ком ты надета, шестерня! Не на мне ли? Не я ли мелю муку?

Тут мельничные крылья не утерпели и засвистели на ветру:

— Мы, крылья, всех вас вертим, крутим и двигаем. Значит, мы и мелем муку.

Услыхал это ветер и сильно разгневался. Рванул он дверь мельницы, выдул прочь мучного червя Дармоеда и так задул, что только крылья у мельницы замелькали.

От этого главный вал, деревянная шестерня и жернов заработали-завертелись быстрее. Веселее пошел помол муки.

— Поняли вы теперь, кто мелет муку?

— Поняли, батюшка ветер, поняли, — ответили все.

— Ой ли? — ухмыльнулся мельник. — Не всем дано понимать, кто мелет муку, кому подвластны все ветры, все воды, кто строит все мельницы на земле.

Сказал так мельник и повернул главный ветровой рычаг. Остановилась работа на мельнице. Все замерли. И жернов, и вал, и шестерни. Потом смазал мельник скрипучие места, засыпал нового зерна, выгреб смолотую муку и опять пустил мельницу.

Плавно заработали крылья. Молча завертелись главный вал и рабочая шестерня. Без болтовни, без пустого скрипа.

— Так-то оно лучше, — молвил старый мельник

Запер на замок мельницу, пригрозил ветру пальцем: «Смотри у меня, мели!» — пошел обедать да эту самую сказку своим внучатам рассказывать, чтобы они знали, кто мелет муку, кому подвластны все ветры, все воды все мельницы на земле.



ПРОПАВШИЕ НИТКИ

ЖИЛА-БЫЛА сварливая старуха. К тому же неряха. Стала как-то она шить. А у неряхи все нитки спутаны. Распутывала их, распутывала нерадивая торопыга да и крикнула:

— Пропадите вы пропадом! Чтобы глаза мои не видели вас со всем вашим нитяным отродьем.

А нитки возьми да и пропади со всем своим нитяным отродьем: кофтами, юбками, платьями и бельем. Ничего нитяного в доме сердитой старухи не осталось.

Сидит старуха голышом и вопит на всю горницу:

— Батюшки-матушки, где же моя одежда?

Кинулась старуха за овчинным тулупом, чтобы себя прикрыть. А тулуп по овчинам на куски распался. Потому как овчинные куски тоже нитками были сшиты.

Мечется старуха из угла в угол, а по избе пух летает. Наволочки у подушек тоже из ниток тканные. Не стало в доме ни варежек, ни чулок, ни одеял, ни половиков. Ничего нитяного не стало.

Накинула старуха на себя рогожный куль, да и давай у ниток прощения просить:

— Ниточки льняные, ниточки шерстяные, ниточки хлопковые, ниточки шелковые! Простите меня, старуху сварливую, торопливую, нерадивую. Вернитесь в мою избу.

И так-то жалобно старуха голосит-причитает, просит, что даже нитки, испокон веков молчальницы, и те заговорили.

— Назови, — говорят нитки, — половину того, что из нас, ниток, ткется, плетется, вьется и вяжется. Тогда вернемся, простим.

— Только-то и всего? — обрадовалась старуха. — Мигнуть не успеете, назову.

И принялась старуха называть. Назвала десяток-другой нитяных изделий-рукоделий да и осеклась.

Не всякий, кто круто берет, далеко идет. Спотыкается. Останавливается. Отдыхает. Стала старуха вспоминать, что из ниток ткется, плетется, вьется и вяжется. День вспоминает, два вспоминает — десятой доли не вспомнила.

Шелка, бархата́, сукна, ковры, половики, ситцы, кружева, одеяла, скатерти. Платки, шали, шарфы, ленточки разные...

Отдохнет и опять вспоминать примется: пояски, опояски, к ботинкам завязки, сапожные ушки, накидки на подушки, тюлевые шторки, плетеные оборки, сети-мерёжи и косынки тоже...

Месяц проходит — другой начинается. А нитки не возвращаются. Старуха из сил выбивается. Другой день больше двух-трех нитяных поделок и назвать не может.



Соседи стару́ху жалеть начали, подсказывают.

Сороки и те, как только выведают, где что новое из ниток делают, — старухе перестрекочут. Тоже жалеют. И вы ее пожалейте. Может быть, тоже десяток-другой нитяных поделок назовете.

Поняла она теперь, что нитки весь свет одевают, нигде без них не обходится.

ХИТРЫЙ КОВРИК



УМНОЙ Машенька росла, да не все понимала.

Пошла она как-то в лес и ужалилась о Крапиву.

— Ах, ты, такая-сякая, колючая. Зачем только ты на свете живешь? Один вред от тебя!

А Крапива рассмеялась на это и сказала:

— Так и о пчеле можно только по жалу судить. А пчела ведь еще и мед дает.

Тут Маша как крикнет на весь лес:

— Да как ты можешь, бездельница, себя с пчелой-труженицей сравнивать!

— Вот что, — говорит Крапива, — приходи сюда осенью, я тебе ума-разума добавлю.

Не верилось Машеньке, что у Крапивы можно ума-разума набраться, но пришла. А вдруг да Крапива что-то дельное скажет?

А Крапива пожелтела по осени. Состарилась. Голос у нее стал скрипучий, жесткий.

— Добудь, Машенька, рукавички, — говорит Крапива, — да выдергай меня и свяжи в пучки.

Надела Машенька рукавички, выдергала Крапиву и связала в пучки.

— А теперь, — говорит Крапива, — вымочи меня в речке и потом подсуши.

Вымочила Маша Крапиву, подсушила и спрашивает:

— Еще что придумаешь?

— Теперь, — говорит Крапива, — ломай мои стебли, мни, выколачивай из них лишнее... А дальше сама увидишь...



Опять Машенька сделала все то, что Крапива просила, и получилось длинное, прочное волокно.

Задумалась Маша, а потом решила: коли есть волокно, из него можно нитки спрясть.

Спряла Маша нитки и снова задумалась. Думала, думала и решила из ниток коврик выткать. Выткала она коврик и вышила на нем зелеными нитками молодую веселую крапиву.

Повесила Маша коврик на стенку и сказала:

— Спасибо тебе, Крапива, что ты мне ума-разума добавила. Теперь-то уж я знаю, что не все на свете пустое да негодное, что пустым да негодным кажется.

И стала с тех пор Маша обо всем думать, во все вникать, везде, в каждой мелочи для людей пользу выискивать.



ФОКА — НА ВСЕ РУКИ ДОКА



В ОДНОЙ стороне никудышный царь Балдей правил. Ну и стольники-престольники, дьяки думные тоже под стать ему недоумками слыли. А народ в этой стороне на редкость был дошлый. Много в народе мастеров было разные разности придумывать, хоть, к примеру, Фоку того же взять... О нем и сказка.

Как-то посеяли мужики царю Балдею горох... Земля в тех местах хорошая была. Дожди, когда надо. Солнышка тоже у других царств-государств занимать не приходилось. Сильный горох родился, да беда: ворон на гороховом поле черным-черно. Клюют урожай.

— Что делать, как быть, мудрый государь Балдей Обалдуевич? — кланяется царю думный дьяк Пустая Голова.

— Надо боярскую думу скликать, — велит царь Балдей.

Скликали думу и стали думой думу думати.

День думали, два дня судили-рядили, на третий день указ обнародовали:

«Мы, царь Балдей Третий, государь премудрый, всея державы властитель, горохового поля повелитель, и прочая, и прочая... указываем подъяремному мужику Фоке Лежебоке денно и нощно на гороховом поле трещоткой трещать — ворон стращать».

Пришел Фока на гороховое поле, а оно черным-черно от ворон. Поймал пяток крылатых разбойниц и стал беличьи колеса мастерить. Как у царя в тереме: посадят в такое колесо белку, она бегает в нем и колесо вертит. Приладил он к этим беличьим колесам трещотки, посадил в каждое колесо вместо белки по вороне.

Вороны колеса вертят, колеса трещотками трещат, и тем

пуще треск, чем шибче очумелая ворона в колесе скачет, себе и другим воронам испуг нагоняет.

Посветлело поле. Вороны даже мимо летать боятся. Думный дьяк Пустая Голова проверить пришел, как царев указ исполняется.

Что такое? Ни Фоки, ни ворон. Трещотки трещат — не умолкают, вороны ворон пугают. Удивление!

— Так и так, великий царь Балдей Обалдуевич. Вороны ворон пугают, а Фока Лежебока свои дела дома справляет. Народ Фоку умником называет, почести воздает. Своеволие.

А Балдей любил — хоть хуже, да по нему. Не терпел новину. Боялся нового, как таракан света. На что уж во всех прочих державах вилками ели, а он — пятерней. Как тятенька, как дед-прадед. Летом на санях ездил — тележного скрипа пугался. Весь в отца — дубовая голова.

К тому же и побаивался Балдей, что кто-то в его царстве умнее объявится. Разве мыслимо, чтобы кто умнее царя был!

Распалился Балдей — ногами затопал, закричал:

— Повелеваю Фоке Лежебоке горох за одну ночь убрать!

Получил царское повеление Фока, запряг лошадь в борону и начисто выборонил горох да в кучу сложил.

Утром с поклоном к царю:

— Исполнил твой приказ, царь Балдей.

Услыхал это Балдей, пуще вчерашнего в ярость вошел:

— Слыхано ли? Работы двумстам мужикам на неделю — и то не выдергают. А он за ночь управился. Повелеваю за два дня обмолотить горох!

Расчистил Фока круглый ток. Стаскал на него кучи. Пустил лошадей. Лошади ходят по кругу, копытами горох из стручков вымолачивают.

— Обмолотил, царь. Вели проверить.

На царе лица нет. Губа с досады, как у старой лошади, отвисать начала. Он Фоку посрамить хотел, невозможный урок ему задал. А Фока всех удивил, царя посрамил, само-



го себя славить заставил. Если так пойдет, так хоть с престола слазь.

Порешил царь Фоку непосильной работой доконать и приказал:

— Провеет пусть. Два дня сроку даю. Да чисто, соринки чтобы не было.

Задумался Фока. Не такое легкое дело — горох провеять. В Балдеевом царстве его по старинке веяли: из горсти в горсть пересыпали и дули что есть мочи. Выдували из зерна сор и шелуху.

Если так веять Фоке, то и году не хватит. Да и где в одном человеке столько дутья взять?

Разостлал Фока зипун, лег на бочок и думать стал.

В умной голове никогда солнышко не заходит, всегда светло. У кого мысли цепкие, ветер их не выдует, а даже свои нашепчет.

Так и случилось. Умел Фока болтливый ветер слушать. Выведал у него, как горох за два дня провеять.

Поднялся Фока до зари, полез на крутую крышу царева дворца. Приладил к ней деревянный желоб. Огородил тесинками крышу так, чтобы горох в желоб скатывался, и принялся мешками смолоченный горох таскать, на крышу сыпать.

Катится по крутой царской крыше горох во все стороны, а тесинки-боковинки его в желоб направляют. Бежит по желобу горох и с разбегу в царский закром сыплется, а, пока от конца желоба до закрома летит, ветер из него всю шелуху до пылинки выдувает.

Толпится народ. Шумит. Разные слова выкрикивает:

— Вот каким людям надо царством править!

— Ай да Фока — на все руки дока!

Так шумят, что царя раньше обеденной поры разбудили. Глядит он — горох ветром веется, с разбегу в закрома сыплется. А Фока лежит на боку, нежится на царской крыше да кое-когда желоб из одного закрома в другой нацеливает.

Застонал от обиды царь. Парчовый рукав со злости изжевал, чуть резной пуговкой не подавился. Думу трубой созывать повелел. Народ в царстве всполошил. Балдеевы думники во дворец бегут, а народные умники у дворца толпятся. Фоку прославляют да его выдумку перенимают.

Темным людям свет всегда глаза режет. У дураков от чужого ума всегда голова болит. Удумала дума новый указ:

«Мы, царь-государь Балдей Третий, повелеваем ленивому Фоке Лежебоке за неделю горох в муку перетолочь».

Помрачнел народ. И Фока запечалился. У него овсы не убраны, своя рожь в поле не сжата стоит.

Пошел опять ветер в поле слушать, ночь на зипуне не спать, дарового работника искать.

Ветреная ночь была. Дерева туда-сюда так и качает. А Фока все видит и на ус мотает. И что надо было ему, то он и намотал.

Приносят ему утром царские слуги песты да ступы.



— Толки горох! Если опять на боку лежать станешь — хуже будет.

Куда уж хуже — из стольких закромов горох перетолочь! Только не стал Фока руками горох толочь. Дерева вместо себя поставил толчеями.

Натянул Фока от одного дерева к другому веревку. Подвязал посередь веревки пест, поставил под него ступу и засыпал ее горохом. Так другую и третью — и все, сколько было, ступы пристроил.

Дерева туда-сюда качаются, веревку то натягивают, то ослабляют. От этого тяжелый пест то подымается, то опускается — сам собой горох толчет. А Фока тем часом свою рожь-пшеницу молотит, овсы убирает. Выберет из ступ гороховую муку, новым горохом их засыплет — и опять за свою работу.

Весело толкут горох даровые работники. В лесу только стукоток



идет. Народ Фоку честит и славит, челом ему за науку бьет, первым умником его называет и самотолчные песты перенимает.

А царские прислужники к царю Балдею с доносом бегут:

— Ваше величие! Твой неслух Фока таким умником себя выказывает — самого царя переплюнуть умом-разумом хочет. Самотолчные песты в роще поставил. Всю работу исполнил.

Кровью налились Балдеевы глаза. В ярости так головой мотнул, что корона слетела, под амбар закатилась.

— Смерть ему! Смерть! Только казни не удумаю. Думу трубите.

Опять труба трубит, народ валит, полоумные дьяки в исподниках, на босу ногу в сапогах бегут.

— Чем тебе служить, царь?

— Придумайте, бояре, лютую казнь Фоке Лежебоке.

Тут думный дьяк Пустая Голова почесал под мышками да и говорит:

— Пресветлый царь Балдей Обалдуевич! Нашу державу волки одолели, всех овец прирезали. Пусть Фока волков из царства выгонит. Глядишь, они его и заедят.

— Вот так голова! — говорит царь. — Всей думой думай, лучшей казни не удумаешь. Пиши указ.

Услыхал народ указ. Понял народ, как темный царь за светлый ум Фоку жалует, перешептываться начал, сговариваться. Сплачиваться. Порознь народ — дождь, а вместе — полая вешняя вода. Сила! Какую хочешь преграду смоет.

— Надо, ребята, Фоке подмогнуть, — говорят мужики. — Какая тебе, Фока Корнеич, подмога нужна?

— Помогите, — отвечает Фока, — если милость будет. Поймайте мне десятка два волков. А я буду им кумачовые жилетки шить, да огненного цвета краску для их морд разводить, да колокольцы-бубенцы делать.

— Это зачем?

— Увидите, — отвечает Фока.

Поймал народ два десятка волков. И живьем их в мешках Фоке доставил.

Обрядил Фока волков в кумачовые жилетки, намазал им морды огненной краской, привязал им под брюхо колокольцы, нанизал на хвосты бубенцы да петушиные перья и выпустил на волю.

Кинулись волки к своим стаям, а стаи от них. Боятся огненных морд. Страшатся кумача. А звон для них хуже стрельбы. В леса стаи кинулись, а Фокины волки не отстают от своих, ходу прибавляют. От своего звона уйти хотят. От своих волчьих хвостов с бубенцами убежать. А как убежишь?

За одну ночь ни одного волка в этой земле не стало. А Фока косит себе овсы да под озимые клин земли подымает.

Царя вовсе узнать нельзя. Волк рядом с ним за ягненка

сойдет. Оба рукава сжевал. Каменья от обиды из короны выколупывать начал.

— Без думы его казню. На плаху! Только как народу об этом объявить? До греха недолго. Вину надо придумать, закон подвести.

А думный дьяк тут как тут:

— Ах, ваше царское преувеличество, я хоть и Пустая Голова, а закон могу подвести! Фока герб нашей державы обесчестил.

— Какой такой герб?

— Как же, ваше еси до небеси! На гербе у нас волк в короне овцу на загривке тащит. Овец волки приели, а волков Фока в чужие земли выгнал. Мы теперь царство с фальшивым гербом. У нас ни волков, ни овец. Что другие державы скажут?

— Боже ж ты мой! Да у тебя ума больше, чем у меня в закромах гороху. Готовь указ о казни. Вели палачу топор точить, урядникам — плаху на дворцовую площадь выкатывать. Завтра казнь.

Занялась заря. Поднялось солнышко красное, ясное. Фоку на казнь ведут. Жена замертво лежит. Дети Фокины при живом отце сироты.

Высоко поднял палач топор. Взыграло Балдеево сердце.

Рубанул по широкой жилистой шее топор палача... и согнулся.

— Что же это, царь, — спрашивает при всем народе Фока, — твой топор мою голову не сечет?

А народ все знает — шумит, хохочет.

— Повесить его! В петле удавить! — велит Балдей.

Вкопали в землю висельный глаголь. Накинул палач петлю. Выбил палач из-под Фокиных ног березовый обрубок. Взвизгнули девки, заголосили бабы, завопили старухи. А веревка оборвалась.

— Что же это, царь, — говорит Фока, — твоя веревка моего тела не выдерживает?

Белее снега сидит в царских носилках Балдей. Ржой покрылось лицо думного дьяка Пустая Голова. Присмирела дума.

— Утопить его! — кричит Балдей. — В реку кинуть.

Ухмыльнулся на эти слова Фока да и молвит:

— Как можно утопить человека, когда за него народ стеной стоит!

Стали привязывать камень к Фокиной шее те же люди, которые восковой топор палачу подсунули и прелую веревку подсудобили.

Привязали они ему на шею вместо камней крашеную сосновую кору, положили под рубаху надутые бычьи пузыри, да и кинули в реку.

Опять взвизгнули бабы, заголосили старухи. А Фока на плаву из реки кричит царю:

— Что же, царь, твои камни не тонут, мешки с песком под моей рубахой меня ко дну не тянут?

Позеленел Балдей, почернел злой царь. Хотел было Обалдуев сын Фоку огнем казнить, да нутро у Балдея пламенем занялось, задымилось и сгорело.

Был царь — и нет царя.

Ликует народ. Поет народ. В колокола звонит. Тружеников прославляет. Фоку первым старостой называет.

Хорошо зажил Фока, в чести. Умом свою державу прославил и веселую сказку после себя оставил.

Эту!

Дедушкины очки

ТАЙНА ЦЕНЫ



У ДЕДУШКИ Гордея легка работа была. Он из раковин пуговицы высекал. При дедушке дотошный паренек — сирота Сергунька за родного внука жил. Все-то ему знать надо, до сути дойти.

Как-то понадобилось Сергуньке обутки, одежку справить. Вырос из старого и к тому же поизносил. Гордей и говорит ему:

— Пойдем, Сергунька, на берег — хорошие обутки, пригожую одежку искать.

— А разве ее на берегу ищут? — спрашивает Сергунька.

— Пойдем, внук, увидим.

Пришли.

— Гляди, внук, сколько сапожонок, рубашонок, портков, картузов на берег волны повыбросили. Знай собирай в мешок, — говорит дед Гордей и не смеется.

— Да это же раковины, дедушка. Как их наденешь?

— А ты, внук, знай собирай. Дома разберемся.

Набрали они по мешку раковин, пришли домой, выварили их, пообчистили, как надо, и за работу принялись. Пуговки высекать стали.

Гордей высекает, Сергунька зачищает. Дед дырочки в пуговичках сверлит, а внук их по дюжине на листки пришивает. Весело дело идет.

Много дюжин наделали. Хорошие пуговички получились. Крупные, с радужным отливом. В город поехали, в лавку сдали, расчет получили. Хватило расчета на сапоги и на картуз, на рубаху и на штаники, да еще на чай-сахар, белый хлеб осталось и новые сверла купили.

Довольнешенек дед. Посмеивается, трубочкой попыхивает.

— Гляди, Сергунька, сколько мы всякого добра из раковин добыли!

Задумался дотошный Сергунька, деда спрашивает:

— Как же это так получилось, что даровые раковины стоить стали? Новым картузом обернулись, кумачовой рубахой, плисовыми портками, сапогами со скрипом стали?

— Цена в них вошла, — говорит на это дед.

— А когда она в них вошла, дедушка?

— Не ведаю.

— Может быть, при высечке?

— Знал бы, так сказал, — хитрит дед. Хочется ему, чтобы внук сам до сути дошел.

А внук свое:



— Может быть, при сверловке, дедушка?

А тот опять хитрит:

— Не ведаю. Тайная это сила для меня. Давно на берег хожу — даровые раковины ношу, а отчего они стоить начинают, когда в них цена входит, ума не приложу. Сходи-ка ты к гончару-кувшиннику. Может быть, у него выведаешь, когда тайная сила цены в даровую глину входит.

Пришел Сергунька к гончару-кувшиннику. Видит: гончар даровую глину в горе копает, с песком ее мнет и водой разбавляет. Квасит.

Сергунька глаз не спускает. Смотрит, когда в даровую глину цена войдет.

Кувшинник тем часом бросил комок мятой глины на кружало, завертел его и принялся кувшин выкруживать. Выкружил кувшин, взял другой комок мятой глины, вытянул его, выгнул лебяжьей шеей и на кувшин ручкой приставил. Потом достал резец-палочку и принялся изукрашивать кувшин. Изукрасил его цветами-розами, заморскими птицами, виноградом-смородиной, потом раскрасил кисточкой и обжигать стал.

Обжег кувшинник кувшин, вынул из печи. Сергунька даже попятился, загляделся на синих птиц с изморозью, на золотой виноград с чернетью. Незнаемой цены кувшин. А когда в него цена вошла, этого он не увидел, и кувшинник толком сказать не может.

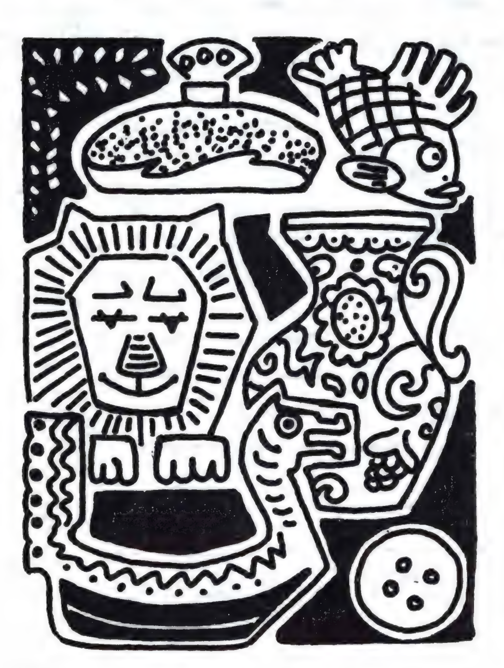
— То ли, — говорит, — на кружале, то ли, — говорит, — в печи. А может быть, она от резца-палочки. Сходи-ка лучше, парень, к лодочнику. Он из дерева ценные лодки выдалбливает. Там, может, виднее будет.

Тоже хитер был гончар. Хотел, чтобы Сергунька сам хитрую тайну цены понял.

Пришел Сергунька к лодочнику в тайгу. Лодочник в два обхвата даровое дерево валит. Отпилил сколько надо, долбить лодку принялся. Выдолбил, обтесал, распарил, бока распорками развел. Развернулась лодка. Нос, корма поднялись — цену лодке прибавили.

Смекать Сергунька начал, как и чем лодочник в дерево цену загоняет. К другим глядеть пошел. К мочальникам, что даровое липовое лыко дерут-мочат, в мочалу треплют, а из мочалы стоящие кули ткут. У берестяников побывал, что из даровой бересты туески-лукошки, пестерьки-сумки на продажу вырабатывают, а до корня цены не дошел.

И у рыбаков побывал. Рыба тоже даровой в реке плавает, а поймай ее — в ней тайная сила цены объявится. И всюду так. Глядеть — замок прост, а ключа не находится.



К каменотесу забрел. Разговорился про ключ цены. А тот ему и говорит:

— Пока сам работать не начнешь — ключа не найдешь.

Очень хотелось Сергуньке ключ цены найти. Пробовать стал камни тесать. Не сразу. Сначала подтаскивал. Подтащит камень-другой и ценить его начинает. В горе лежал камень — даровым был. На место пришел — стоить начал.

Научил его каменотес бока у камня прямить. Для строительства не какой попало камень идет — мерный. Отешет Сергунька другой-третий камень. Видит — опять в них цена прибыла.

Фаску научил его каменотес снимать. Как даст Сергунька фаску камню — его цена чуть не вдвое вырастет.

Ну, а когда пузатые колонки, кудрявые капительки научился Сергунька из камня высекать, тогда и спрашивать больше не стал, в чем тайная сила цены. Сам понял. Понял и решил у дедушки побывать.

Приходит к дедушке и говорит:

— Я, дедушка, каменотесом стал. Львов-тигров, даже ценных каменных див высекаю. Яшменные пуговки тебе на пробу высек. Бери.

Глядит дед на подарок: одна другой пуговки краше.

— Большую цену за них дали бы, — говорит дед Гордей. — А в чем тайная сила цены, выведал?

— Нет, дедушка, не выведал. Сам дошел, когда работать начал. В руках, дедушка, тайная сила цены. В руках. В моих, в твоих, в кувшинниковых, в лодочниковых — в трудовых руках...

Так открыл Сергей великую тайну цены, нашел ключ ко всем замкам. И на что ни поглядит теперь — на дом ли, на стол ли, на узорчатую ткань, на ржаной хлеб, на радужные пуговицы, — труд человека видит: цену всех цен, корень всех ценностей-драгоценностей нашей земли и самой жизни.

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ



ОДИН РАЗ в сто лет, в ночь под Новый год, самый добрый из всех самых добрых стариков, Дед Мороз, приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать все, что захочешь, и нарисованное оживет.

Хочешь — нарисуй стадо коров и потом паси их. Хочешь — нарисуй корабль и плыви на нем. Или звездолет — и лети к звездам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попроще, например, стул, — пожалуйста. Нарисуй и садись на него.

Эти краски Дед Мороз приносит самому доброму из всех самых добрых детей. И это понятно. Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке, они могут натворить много бед. Пририсуют человеку второй нос, и будет человек двуносым. Нарисуют собаке рога, курице — усы, а кошке — горб, и будет собака рогатой, курица — усатой, а кошка — горбатой.

Поэтому Дед Мороз очень долго выбирает, кому из детей подарить волшебные краски.

В последний раз он подарил их одному очень доброму мальчику. Самому доброму из самых добрых.

Мальчик очень обрадовался подарку и тут же принялся рисовать. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме — нарядное платье, а отцу — охотничье ружье. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам — большую-пребольшую школу.

Но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья полов, а платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пестрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружье ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого



напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того уродливой, что к ней даже боялись подходить близко.

На улице появились деревья, похожие на метелки. Появились лошади с проволочными ногами, автомобили с кривыми колесами, дома с падающими стенами и крышами набекрень, шубы и пальто, у которых один рукав был длиннее другого... Появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться. И люди ужаснулись:

— Как ты мог сотворить столько зла, самый добрый из всех самых добрых мальчиков?!

И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливыми!.. Но он не умел рисовать и только зря извел краски.

Мальчик плакал так громко, что его услышал самый добрый из всех самых добрых стариков — Дед Мороз. Услышал, и вернулся к нему, и положил перед мальчиком новую коробку с красками:

— Только это, мой друг, простые краски. Но они могут тоже стать волшебными, если ты этого очень захочешь.

Так сказал Дед Мороз и удалился.

А мальчик задумался. Как же сделать, чтобы простые краски стали волшебными и чтобы они радовали людей, а не приносили им несчастье? Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать.

Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвертый день. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Тогда он приобрел новые.

Прошел год... Прошло два года... Прошло много-много лет. Мальчик стал взрослым, но по-прежнему не расставался с красками. Глаза его стали зоркими, руки умелыми, и теперь на его рисунках вместо кривых домов с падающими стенами



красовались высокие, светлые здания, а вместо платьев, похожих на мешки, — яркие, нарядные одежды.

Мальчик не заметил, как стал настоящим художником. Он рисовал все, что было вокруг, и то, что еще никто никогда не видел: самолеты, похожие на огромные стрелы, и корабли, похожие на самолеты, воздушные мосты и дворцы из стекла.

Люди с удивлением смотрели на его рисунки, но никто не ужасался. Наоборот, все радовались и восхищались.

— Какие чудесные картины! Какие волшебные краски! —



говорили они, хотя краски были самые обыкновенные.

Картины и вправду были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот настали счастливые дни, когда нарисованное на бумаге стало переходить в жизнь: и дворцы из стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли...

Так случается на белом свете. Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором или швейной иглой и даже с простой глиной. Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников — руки трудолюбивого, настойчивого человека.

РУКАВИЦЫ И ТОПОР



МЕР СТАРИК и оставил сыновьям наследство: старшему — избу, среднему — корову, а младшему — рукавицы и топор. Стал старший сын своим домом жить, средний — молоком торговать, а младший — топором хлеб-соль добывать да песни распевать.

Много ли, мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила молоко корова у ленивого коровника, а рукавицы да топор у радивого мастера — хоть весла тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины ладят, мельницы ставят. Младший сын свой дом срубил, свою корову купил.

— Не иначе как у него заколдованный саморубный топор, — говорит старший брат среднему, — давай утащим.

Утащили братья топор и велели ему весла тесать, рамы вязать, дома возводить, мосты наводить. А топор ни с места.

— Видно, не в одном топоре сила, — сказал средний брат. — Давай и рукавицы утянем.

Утянули рукавицы. Опять ничем-ничего.

А младший брат, мастер, новый топор да новые рукавицы купил. Снова стал работать да песенку свою петь. Так поет — только щепки летят.

— Выходит, в песне сила, — решили братья. — Давай песню переймем.

Стали братову песню перенимать.

А песня хоть и проста была, да загвоздиста. Пелось в ней, что остер топор, да не в нем сила. Сказывалось в ней, как на умелых руках холщовые рукавицы трудовой мошной обертываются. Пускай в ней денег не густо, зато не бывает пусто.

Каждый день новая копеечка появляется, когда мастер старается.

Переняли братья песню. Сердцем ее поняли, и хорошо у них дело пошло. Тоже мастерами стали. Веселые песни распевать начали. В три голоса. Артельно.

Про топор с рукавицами в песне поют, а руки славят, на верный путь добрых людей песней ставят.

Далеко нынче топор пошел. Встретишь и не узнаешь. В хитроумные механизмы вышел. Голыми руками не ухватишь. Рукавицы нужны. Да не тяп-ляп. Не домотканые. Фабричного качества, ученого ткачества, грамотного покроя, образованного шитья.

Вот оно как дело-то нынче повертывается. Ясно?

Коли ясно — тогда ставь точку на эту строчку, переворачивай листок, давай свисток и дальше поедем. В новую сказку.



ДЕДУШКИНЫ ОЧКИ

Ч ДЕДА внук был. Не ахти какой самоцвет — парень и парень. Только старик очень внука любил. И как не любить, когда он — дедушкин портрет, бабушкина улыбка, сыновняя кровь, невесткина бровь и ее же румянец.

Отец, мать на работе, а внук при дедушке.

Старик сам на всю семью валенки подшивал и сапожничал по домашности. Внук около деда вертится — хочет узнать, что к чему. Глазами дедушке помогает. И руками подсобить не отказывается.

Провощит, скажем, дедушка дратву, а щетинку в ее конец не может воскать.

— Дай, дедушка, я воску. Ты плохо видишь.

— Да воскешь ли, внук? Дело хоть простое, а трудное.

Час, другой, третий бьется внук, а научится. И так всегда.

— Ах ты, дедушкины очки! — скажет старик. — При тебе и без глаз остаться не боязно. Увижу.

Подопрели как-то у старой избы венцы. Менять надо.

— Давай, внук, сами венцы сменим.

— Давай, — отвечает внук. — Только я, дедушка, никогда этого не делывал.

— Не беда, — отвечает дед. — Были бы глаза, а руки при хороших глазах что хочешь сделают. Тащи пилу. Точить будем. Развод зубьям хороший дадим.

Притащил внук пилу и побаивается, чтобы дед руки не повредил.

— Я сам, дедушка. Только ты мне показывай, как зубья разводить, как напильник при точке держать.

Показал дед, как развод зубьям давать, как напильник

держать. Поторопился внук — поранился маленько. А дедушка палец перевязывает да и говорит:

— Пила-топор торопливых не милуют. А мы их терпением обманем да сноровкой перехитрим.

Обманул внук пилу терпением, топор сноровкой перехитрил. Выточил так, что они в дерево, как нож в масло, идут.

— Пойдем теперь, внук, в лес дерева на венцы валить. Только побереги меня, Вася, в лесу от смерти.

— От какой смерти, дедушка?

— Дерева знаешь какие вредные? От себя валишь, а на тебя упадут. Боюсь, как бы меня какое дерево не прихлопнуло. Я ведь еще хуже видеть стал.

— Ничего, дедушка. Зато я в оба глаза буду глядеть.

Пришли в лес. Дедушка показывать начал, как запил зарубать, куда наклон у дерева, как по ветру дерево валить.

Хорошо с делом справляется внук — деда оберегает. Сторожко, с умом дерева валит, ноги бережет.

Пришло время венцы подводить. Дед опять на глаза жалуется:

— Васенька, ты теперь уж вовсе моими очками стал. Гляди, а я рассказывать буду.

Рассказал дед, как бревно замерять, как паз в бревне выбирать, как угол в лапу рубить.

Старается внук. Что дедушка говорит, то и делает. А старик на ощупь руками проверяет, где и что не так — указывает.

Подвел внук венцы, новым мохом пазы проложил, проконопатил. Васины отец-мать диву дались.

— Как ты это все можешь, сын?

А Вася им:

— Да это не я, а дедушка.

Прошло сколько-то там времени, дед пуще прежнего на глаза жаловаться стал.

— Не могу я, Василий, без работы жить. Руки без дела слепнут, душа старится, сердце останавливается.



А внук припал к дедушке и давай его обнадеживать:

— Не горюй, дедушка. Я за двоих вижу. Моих глаз нам на обоих хватит. Давай работать. Ты только говори, а я сам увижу.

Работают дед и внук. В два глаза глядят, а в четыре руки мастерят. Печи перекладывают, трубы выводят, рамы стеклят, полы стелют, крыши щепой кроют. Нарасхват мастера.

Как-то они навесы к рамам привертывали, и внук отвертку потерял. Искал, искал — не может найти. А дед ему:

— Да вон она, Васенька, в стружке лежит.

— Это как же ты, дедушка, увидел ее?

— Видно, внук, глаза от работы прозревать начали.

— Может быть, и

бывает, дед, только я не слыхал, чтобы к старости глаза лучше видеть начинали.

Опять прошла неделя, другая. Тонкую работу дед с внуком взяли: старинный узор в доме нанялись подправлять.

— Ты, — говорит внук, — сиди, дедушка, это не по твоим глазам, а я прожилки у листочков наводить буду.

Стал внук прожилки кисточкой выписывать, а дед и говорит:

— Васька, да ты это что? Прожилки листам надо во всю их живую силу давать, а ты их тоньше волоса выводишь.

Слез Василий с подмостей и спрашивает:

— Как это ты, дед, с полу прожилки на листах можешь видеть, когда я их плохо разглядываю?

А дедушка не потерялся да и говорит:

— Молод еще, значит, мастер. Не можешь пока без дедушкиных очков работать.

Тогда внук и спрашивает:

— Так кто же для кого очки? Ты для меня или я для тебя?

— А это уж тебе, внучек, лучше знать. Большой вырос.

Понял тогда Василий про дедову слепоту. Обнял старика:

— Хитрый ты у меня, дедушка. Беда какой хитрый!

А старик на это, не таясь, отвечает:

— Если деду хитрому не быть, так откуда внуку умному да работящему вырасти?

Много лет прошло. Громко Василий работать начал. Во всю силу его трудовая слава зацвела. Василием Петровичем величать стали, редким мастером называли. Когда же состарился Василий Петрович, сам стал молодым мастерам хитрые «дедушкины очки» надевать. Чтобы глубже свое дело видели да на работу шире смотрели.

МАЛЯР С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ



ЫЛИ У МАЛЯРА Корнея четыре сына: Иван, Степан, Василий и Петя. Пришло время Пете ремесло выбирать. Говорит ему отец:

— Будь, Петя, как я, как братья твои, маляром. Хорошее ремесло.

А Петя десять классов кончил и золотую медаль получил.

— Это как же я могу с таким образованием да с золотой медалью маляром быть, мазаным ходить?

Тогда отец говорит:

— Поезжай посмотри, как твои братья работают. Тогда решишь.

Приехал Петя к старшему брату, Ивану, в Тулу. Брат Дворец культуры кистями расписывает, да так красиво, что зависть берет.

Приехал Петя ко второму брату в Москву. Второй брат, Степан, без кистей потолки и стены красит. В руках у него «пистолет», а из «пистолета» голубым лучом краска бьет и на стены ровным слоем ложится. Полчаса-час, и комната готова. И такой почет Степану ото всех, что зависть берет.

Приехал Петя к третьему брату, Василию, на автомобильный завод. Третий брат, как доктор, в белом халате, руки в карманы, стоит, на приборы смотрит и проверяет, как автоматическая камера сама по себе легковые автомобили красит. Да так хорошо красит, что зависть берет.

Вернулся Петя к отцу и говорит:

— Далеко, отец, твоя специальность шагнула. Буду и я на маляра учиться, чтобы нашу родовую профессию еще дальше пронести и выше поднять.

А отец на это и говорит:

— Разве одна наша малярная профессия такова? Все они по-старому называются, да по-новому понимаются. Всякую из них надо дальше нести да выше подымать. Для этого и учатся десять лет. Да и этих-то десяти годов другой раз маловато бывает.



ДОРОГАЯ ЛАСТОЧКА



АК-ТО царь в Вятке губернатора сменил. Нового назначил.

Когда оглядывал новый губернатор старый губернаторский дом, возьми да и не приглянись ему мебель. А мебель самая лучшая — наших мастеров. Сна лишиться можно, как прожилки дерева играют. Глаза повыглядеть на резьбу в пору. Полировка такова, что себя в ней видишь. И фасон такой молодой, что через тысячу лет не состарится. Умеют наши мастера простой гранью мир удивить, из чугуна коней дороже золотых отлить, кружевом с ума свести, булатом так ослепить, что не проморгаешься. Мебель в этом же ряду была. Не руками деланная — из крылатой души мастера нуждой на радость барам выгнанная. Ну, да не об этом музыка...

Стеклянные глаза вместо живых человечьих были у губернатора. Иначе как он мог сказать:

— Выбросить эту мужичью работу. Иноземную мебель куплю.

Ахнул народ. Срамота! А делать что? Выбросили.

Вдолгости ли, вскорости ли прибыл обоз с иноземной мебелью. Из... Не упомню города. Да и державу забыл. Может быть, и не забыл, да называть не хочу.

Как там бережно ни выгружали мебель, а кое-что поломали. Ножки, бомбошки, ручки там. Мало ли! Бывает.

Призывает тогда губернатор одного старого мастера и говорит:

— Можешь ли ты, мужик, такую хитрую мебель починить?

— А что ж тут не мочь? — отвечает мастер. — Если я ее сделать сумел, так починить-то уж починю.

— Что ты врешь, такой-сякой! — закричал губернатор.

— Зачем врать, — сказал мастер. — Поверните стульчик донцем — мою метку увидите. Отверните у стола ножку — там тоже моя ласточка летит. Она по осени в чужой край улетала, а по весне домой пожаловала.

Побелел губернатор. От злости чуть на стену не полез. А потом царю отписал об иноземной мебели, которую в Вятке делают.

Царь прочитал бумагу и приказал в этом городе, который я называть не хочу, мебели больше не брать. И повелел заказы на другой иноземный город перевести.

С той поры в неназванный город из Вятки ни одного стула не отправили. Зато в другую иноземную державу густо наша мебель пошла. Там и стали князья да графья вятскую мебель покупать. Оттуда же и вологодские кружева, тульские переклейменные ружья и многое другое вывозили. Вплоть до уральских самоцветных камней. Вывозили да довывозились — сами вывезлись, вывелись. Кончились.

И сказка кончилась, а главные слова не сказались. А коли главных слов нет — значит, и сказки как не бывало. Вот они, эти слова.

Берегите отцовское мастерство. Никому не давайте его переклеймить. Дорожите своей ласточкой.



Семьсот семьдесят семь мастеров

ТРУДОВОЙ ОГОНЕК



ОДНОЙ вдовы сын рос. Да такой пригожий, даже соседи налюбоваться на него не могли. А про мать и говорить нечего. Рукой-ногой ему шевельнуть не дает. Все сама да сама. Дрова-воду носит, пашет-жнет-косит, на стороне работенку прихватывает — лаковые сапоги да звонкую гармонь сыну зарабатывает. Вырос у матери сын. Кудри кованым

золотом вьются. Уста алые сами собой смеются. Красавец. Жених. А невесты не находится. Ни одна за него не идет. Отворачиваются.

Что за чудеса?

А чудес тут никаких нет. Дело простое. Чужой травой в трудовом поле сын вырос. С руками — безрукий, с ногами — безногий. Ни сено косить, ни дрова рубить. Ни ковать, ни пахать. Ни корзины плести, ни двор мести, ни коров пасти.

Солому метал — с телеги упал. Рыбу ловил — в пруд угодил, еле вытащили. Дрова носил — живот занозил. Кто такого товарищем назовет?

Хороводы водить не зазывают. Работать напарником не принимают. Маменькиным божком, лаковым сапожком кличут. Круглым неумельником, на завалинке посидельником дразнят. Пустоцветом величают.

Малые ребятишки и те смеются. Каково это ему?

Затосковал парень, зарыдал. Так-то он зарыдал — кирпичная печь и та вздохнула. Дубовые стены избы и те разжалобились. Пол тоскливо заскрипел. Потолок насупился, почернел, задумался.

Жалеют!

А он в три ручья слезы льет, приговаривает:

— Зачем ты меня, матушка, так любила? Для чего ты меня, родимая, в безделье холила, в лености пестовала, в неумельности вырастила? Куда я теперь с моими руками белыми, квелыми, неумелыми?

Похолодела мать, обмерла. А ответить нечего.

Чистую правду ей в лицо горькими слезами сын выплеснул. Поняла мать, что ее слепая любовь злосчастьем сыновним обернулась.

Ночи не спит сын — как дальше жить, не знает. Днем места не находит. Только нет на свете таких слез, которые не выплакиваются, такого горя, которое не размыкивается, такой думы, которая не додумывается. Не зря говорят, что



в тяжкий час и печь разумеет, стены помогают, потолок судит, половицы с умом поскрипывают.

Наскрипели они ему что надо, утешили. Слезы высушили, добрый совет дали.

Обул сын тяжелые отцовские сапоги, надел его рабочую одежду и пошел по белому свету бездельные годы наверстывать — заново расти.

Нелегко было рослому парню в подпасках ходить, в двадцать один год с топором знакомство сводить, гвоздь в стену учиться бить, руки белые, квелые, неумелые на ветру дубить.

Знают только лютый мороз да жаркое солнышко, какими трудами кудрявый сын до дела дошел. Мастером домой вернулся. На ткачихе женился, тоже не из последних мастериц. Как родную ее полюбила старая мать, особенно когда

она ей внуков родила. До того пригожие они росли, хоть на карточку снимай да в рамку ставь.

Без ума любила их бабушка, только пестовала с умом. Не как сына.

Кровью, бывало, жалостливое старухино сердце обливается, когда старшенький внук в трескучий мороз дрова пилить собирается. Сердце старухе свое твердит: «Не пускай, пожалей, ознобится», — а она: «Иди, милый внук-богатырь. Дубей на ветру. С морозом спорь. Отцовскую трудовую славу своим трудом подпирай».

У внучки, бывало, глазенки слипаются, ручонки еле веретено крутят, а бабушка ей: «Ах, какая у нас тонкопряха растет проворная, да неустанная, да дреме-сну неподатливая».

Замиловать бы девчоночку, по пальчику бы ее ловкие ручки перецеловать, а старуха изъян в пряже ищет. То в нитке тонина неровна, то слабина одолевает. На изъяны укажет и хорошее заметит. Да не просто так, а дорогой бабушкиной лаской, редким огневым словом душу девчонке осветит и согреет.

Попусту, бывало, самого любимого, меньшего внука не приласкает. За работу жалует. Невелик труд чашку подать или там лукошко с угольями к самовару поднести, а для четырехгодовалого и это за работу меряется.

Как про такого за столом при всей семье не сказать: «Меньшой-то у нас трудовым человеком растет. Веник подает. Угли подносит. Самовар караулит. Кошку кормит».

А тот до ушей от радости красный, сидит да на ус мотает и думает: «Какое бы еще дело сделать, чтобы у бабушки в чести быть?» Сам себе работу ищет, дела придумывает.

Мастерами, мастерицами вырастила бабушка своих внучат. И кудри у них к лицу вьются, и дорогая лента в косе по заслугам красуется, и лаковые сапоги по делам горят. Трудовой завязи люди. Умельники. В бабушку.



Пришла трудовая власть в нашу державу. Не дожила до этих дней старая мать-бабушка. Только и умереть не умерла.

Когда старшего внука за доменную работу награждали, горновые-то его и спрашивают:

— В кого ты, кудряш, богатырем стал? Откуда в тебе такой жар доменный?

А тот малость вздохнул да и отвечает:

— От бабушки. В работе она меня выпестовала, в труде вырастила. От нее и огонь во мне.

А внучка-ткачиха старшему брату в подпев:

— И у меня от нее нитка не рвется — ситец смеется. Она меня звонкие нитки прясть выучила. Она солнечный уток в мою трудовую основу заткала.

А младшенький внук-хлебороб отобрал самые всхожие, самые мудрые бабушкины слова и светлыми сказками глубоко запахал их в людской памяти. Глубоко запахал, чтобы не забыли. Не забыли да другим пересказывали. Пересказывали да в живых юных душах трудовой негасимый огонек зажигали...

МАРКЕЛ-САМОДЕЛ И ЕГО ДЕТИ



ДАВНЕЕ давнего это было. Жил в те незапамятные времена Маркел-Самодел. Все сам делал. Пашню пахал, железо ковал. Домницы ставил, руду в них плавил. Рыбу ловил, на охоту ходил.

И жена у него, Маркеловна-Самоделовна, тоже сама всю женскую работу справляла. Лен пряла, холсты ткала, кожи квасила-мяла, одежу-обужу шила. Жарила, парила, варила, детей уму-разуму учила.

Дельными подрастали сыны-дочери. В отца-мать пошли Маркеловичи-Самоделовичи. Никакая работа из рук не валится. Топором машут, сохой пашут, горн раздувают, горшки обжигают. Сеют и веют — все умеют.

Только стал замечать Маркел, что набольший сын пуще других к пашне тянется и та же земля у него лучше родит, а второй сын от наковальни не отходит и до того славно кует, что и Маркел так не ковывал. Тоже и третий сын, Сазон Маркелович-Самоделович, все может, а рыбу-зверя лучше других промышляет. Подрос и четвертый сын. Платон Маркелович. И так-то он к топору пристрастился, что каждому брату срубил по избе, каждой сестре — по терему.

Видит Маркел, что и дочери у них в отца-мать уродились, только в каждой своя трудовая жилка бьется. Одна одежду шьет — залюбуешься, вторая холстину ткет — не надивуешься. У третьей посуда в руках улыбается. Какой горшок-чашку ни слепит — всем весело.

Задумался над этим Маркел-Самодел. Долго думал. А когда пришло время Маркелу-Самоделу со своей семьей навечно прощаться, созвал всех и напутствует:

— Дети мои! Вижу я, что из всех дел каждый в своем

умел. Значит, разные руки по-разному хватки, во всякой голове — свои задатки. Так и живите. Так и детям-внукам наказывайте.

Умер Маркел. Разделили сыны-дочери между собою отцовский труд. А отцовское хозяйство не распалось. Каждый хоть и сам по себе — своим домом живет, а свою работу для всех делает. Один сын для всех пашет и сеет. Другой — для всех железо кует, руду плавит. Третий — в лесу промышляет, братьев-сестер в меха одевает.

И дочери так же — кто сукна ткет, кто кожи мнет, овчины квасит, холсты красит. Тоже для всех.

Мастера, мастерицы на земле появились. Ремесла зародились. Лучше люди зажили.

От Маркеловых сыновей-дочерей внуки-правнуки пошли. Эти-то уж вовсе хваткими мастерами стали. И каждый из них в своем деле так далеко шагнул, что ветер, воду, огонь на службу поставил да на себя работать заставил. Только это из других времен сказка, тоже не без умысла сложена.

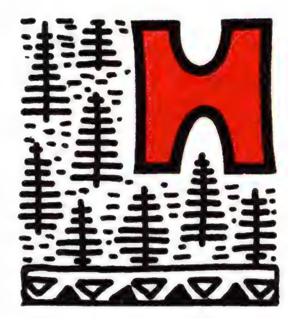
А в этой сказке умысел простой. Как станешь трудовую дорожку, счастливую тропинку искать — Маркелов наказ вспомни.

Проверь, какая в тебе трудовая жилка бьется, какая работа лучше других удается, — та и твоя.

Бери ее и дальше двигай, выше подымай. Не ошибешься. Далеко пойдешь, если свое дело найдешь. Не зря старый Маркел говорил:

«Каждые руки по-своему хватки, во всякой голове — свои задатки».

СЕМЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ МАСТЕРОВ



НА ЛЕСНОЙ опушке, в небольшой деревушке жил Ваня. Дурачком он не был, но и умником не слыл. Пришло Ване время за дело браться — мастерство по сердцу выбирать. А какое мастерство ему по сердцу, он не знает.

Тогда ему отец говорит:

— Иди, сынок, в лес. Лес, Ваня, семьсот семьдесят семь лесных мастеров знает. Вот и увидишь, каким тебе мастером быть.

Не поверил Ваня, что лес семьсот семьдесят семь мастеров знает, потому как сам-то он знал только одного лесного мастера — дровосека. Не послушал отца и не пошел в лес.

А в этом году лес именинником был. Он раз в сто лет именины справлял. Потому что жизнь у леса не одна тысяча лет, и каждый год рождения справлять — большой расход.

Как-то проснулся Ваня до солнышка. Не сам встал, а скамейка его разбудила, на которой он спал.

— Вставай, — говорит, — Ваня, с меня. Я в лес пойду.

— Это еще что такое? Зачем ты в лес?

А скамейка ему:

— Сегодня, — говорит, — в лесу праздник. Именины, день рождения и все прочее. Лес всю свою деревянную родню собирает. И потому как я тоже деревянная, его кровная племянница, непременно должна идти.

Сказала так скамейка и быстрехонько на своих четырех ножках побежала в лес.

Ваня глазам не верит. Только за скамейкой и стол и стулья в лес собираться стали. Поторапливают Ванину семью:

— Скорее пейте чай, завтракайте, пока мы не ушли.

Отец, мать, дедушка с бабушкой торопятся — пьют-едят,



ложки моют, посуду, утварь деревянную трут, глянец наводят. Потому как им на именинах неряхами нельзя показаться.

Ну, хорошо. Вымытые чашки, ложки на стол уставились, березовый веник за ножку стола увязался, а бочки, кадушки, лохань сами по себе за столом покатились. Колода дубовая долбленая, в которой скотину поили, и тесовые ворота вместе с корытами и коромыслами на телегу грузиться стали. А баня с колодезным журавлем на санях решили ехать. Те хоть и скрипят, трещат по летней поре, а везут. Своя ноша не тянет.

Глядит Ваня — все деревянное имущество на именины, в лес собирается. И старуха изба тоже начинает отряхиваться да охорашиваться. Изба у Ваниной бабки шаль кашемировую надеть выпросила, потом два нижних венца вместо катков под себя подложила и покатилась на них к лесу.

Видит Ваня — на дворе одна печь да самовар остались, да и те попутчиков подыскивают в лес ехать.

— А ты-то, кирпичная печь с медным самоваром, какая лесу родня? — спрашивает Ваня. — Вы-то ведь не в лесу родились.

— Так-то оно так, — отвечает

печь. — Не в лесу родились, только лесным теплом хлебы печем, щи варим, чай греем.

Совсем тут Ваня умнеть начал. «Не пойти ли, — думает, — и мне?» Только он подумал это, лапти его сами в лес повели.

— Пойдем, пойдем, Ванечка, нам по пути. Мы ведь как-никак лесные племянники. В лесу лубом на липе росли, из лесу лыком пришли, лаптями стали.

Сказали так и повели Ваню в лес. Вывели его на широкую дорогу, а по дороге видимо-невидимо гостей к лесу направляется. И лодки плывут, и мельницы идут, мосты шагают, балалайки с гитарами, скрипки друг дружку обгоняют... Корзины, плетни, катки, вальки, колодки для хомутов, дорогая резная мебель — лакированная, полированная, редкие меха, куньи воротники, скипидар, деготь, смола, пихтовое масло, кедровые орехи, целебные корни-травы...

Тысячи тысяч гостей со всех волостей: лесовальной, лесопильной, смолокуренной, плотницкой, охотницкой, тележной, санниковой, столярной, дегтярной, мебельной, корабельно-лодочной, литейно-модельной, токарно-резной... Семьсот семьдесят семь лесных мастеров.



Вечером пир на большой лесной поляне начался. И Ваню позвали.

— Приглядывайся, — говорит лес. — Может, семьсот семьдесят восьмым моим мастером станешь.

Весело пир пошел. Сосны хорошей смолы дали. Факелы зажгли. Лесная мурава зеленый ковер на поляне разостлала. Тысячи соловьев прилетели именинника славить. Хором пели. Зайцы, белки, ежи скоморошничали, представленье представляли.

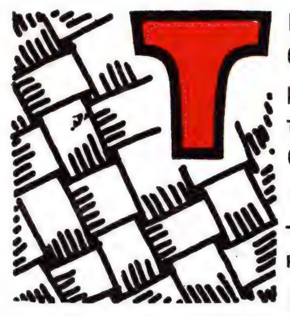
Потом снедь лесную начали подавать. Соленые, вареные грибы. Грибы жареные, дичь разную: куропаток, тетеревов, глухарей, рябчиков. С брусничкой, клюквой, княженикой-ягодой. Лесным диким медом запивали, кедровым орехом заедали, свежей лесной малиной-смородиной закусывали.

И чего-чего только на том пиру не было, каких лесных съестных припасов не подано! Понял Ваня, что за дары в себе лес таит, каких лесных мастеров он требует, и задумался.

Долго ли, коротко ли думал Ваня, только стал он новым, семьсот семьдесят восьмым лесным мастером. А каким — про это сказка не сказывает, и я сказать не могу.

У других поспрошайте.

САМОХОДНЫЕ ЛАПОТКИ



ТРИ СЫНА при отце жили. Земли у отца было мало. Одну десятину на троих не разделишь. Да и одну лошадь тоже натрое не раздерешь. Вот и придумали братья ремеслами промышлять. Жить-то ведь надо.

— Я по городам пойду ремесло искать, — говорит старший сын. — За которое больше платят, то мое и будет.

— А я, — говорит средний сын, — стану по базарам ходкий товар высматривать. Какой ходчее идет, тот и делать буду.

До младшего очередь дошла.

— Чем ты, мил-сын, промышлять будешь?

— Хотелось бы мне, тятенька, научиться лапти плести. Всегда в спросе.

Засмеялись братья:

— Дурень и есть дурень. В спросе-то они в спросе, да цена-то за этот спрос с воробьиный нос. Вот оно что.

Поговорили так братья и разошлись.

Идет старший по городам и видит — мастера чаевничают. Подсел. Слушать стал, о чем мастера беседуют.

— А я сто одну деньгу зарабатываю, — хвалится каменщик. — Одну деньгу для души в трактир отдаю, а сто денег в дом несу.

Как старший сын услышал эти слова, и думать больше не стал. Доходнее каменного ремесла не найдешь.

— Возьми меня, каменщик, в выученики.

Посмотрел каменщик — парень здоровый, плечи широкие, руки сильные и, видать, глазастый.

— Возьму, — говорит, — если ты ремесло ниже денег ставить не станешь.

Взял его и начал каменному делу обучать.

Второй сын идет по базару и видит — дуги хорошо разбирают. А старичок-дуговичок, который дугами промышлял, возьми да похвались:

— Мошна у меня, как дуга, туга. Что ни дужка, то полтина с полушкой. Полушку — на косушку, полтину — домой.

Как услышал это средний сын — тут же порешил дуги гнуть.

А младший лыка надрал, колодочек лапотных настроил и плетет себе лапоть за лаптем. Один с косиной, другой с слабиной, третий — в руки взять совестно. А он плетет себе да плетет. Одна неделя проходит, другая начинается. Полная баня лаптей, а обуться не во что. На пятую неделю от лаптей вовсе тесно стало.

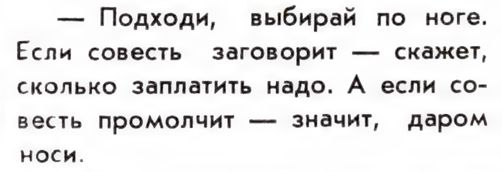
— Тятенька, дай лошадь, я на базар лапти повезу.

Дал отец лошадь. Привез мастер свои лапти да и свалил их в кучу.

— Почем, парень, лапти? — спрашивает народ.

— По совести.


— По какой такой совести?


— Подходи, выбирай по ноге. Если совесть заговорит — скажет, сколько заплатить надо. А если совесть промолчит — значит, даром носи.



Много народишку налетело на даровые лапти. Живехонько разобрали. Кто грош, кто полушку кинет, а другой еще к лаптям приплату просит.

— Коли, — говорит, — по совести, так по совести. Полушку заплатишь — так и быть, потешу тебя, малый, твою худую работу на свои добрые ноги обую.

Делать нечего, приплачивает мастер к своим лаптям, а сам смотрит, какие лапти складнее на ногах сидят, за какую пару приплаты не просят, а деньги дают.

Расторговался парень — ни лаптей, ни денег. А песни поет.

— Ты что, мил-сын, больно весел? Аль выручку большую привез?

— Не выручку, тятя, а выучку. Выучка дороже всего.

Сказал так и пошел в липняк лыко драть — и опять за лапти.

А той порой старший брат, подучившись кое-чему, камни кладет, торопится, а средний дуги гнет, поспешает.

Пока меньшой сто лаптей сплел, старший много кирпича выклал, а средний того больше дуг нагнул.

Пришло время братьям встретиться.

— Ну, милые мои сыны, — говорит отец, — сказывайте, как ремеслами промышляете.

— Я, тятя, каменным ремеслом занялся. Сто одну деньгу зарабатываю. Скоро отделюсь, своей семьей заживу.

Похвалил отец старшего и среднего слушать принялся.

— У меня, тятенька, мошна будет, как дуга, туга. Что ни дужка, то полтина с полушкой. Знай наших!

Дошла очередь до младшего:

— Моя работа вся на виду. Базар цену скажет.

Погостили сыны у отца и в путь собрались: старший — деньги за каменную работу получать, средний дуги повез на базар продавать. А младший и говорит им:

— Братцы, не захватите ли вы и мою работу? Вдруг да грош с полушкой выручите, и то нам с тятенькой деньги.

Поглядели братья на лапотную работу и говорят:



— Если по паре лаптей дашь — свезем.

— Да хоть по две, братцы, берите, — говорит младший, а сам радуется.

И есть чему. Если уж братья-мастера — один каменщик, другой дуговик — его работу обувают, то уж простой-то человек верняком обует.

Приехал старший брат в город деньги получать, а заместо денег ему по загривку сулят, стены на все корки ругают.

Тут старший к каменщику кинулся. А тот сидит в трактире и на одну деньгу чаи с баранками распивает, а за пазухой у него сто денег лежат.

— Ах, ты такой-сякой, немазаный, сухой! Чему ты меня выучил? Мои стены на все корки ругают. Деньги не платят. По загривку сулят.

А тот чаек попивает да посмеивается:

— Разве я тебя, торопыгу, учил ремесло ниже денег ставить? Вот и получай взашей.

Делать нечего. Каменное дело не к рукам пришлось, надо новое ремесло искать. Продал он половину братовых лаптей да домой поворотил.

Средний той порой на базаре дуги расставил, а вторую половину лаптей в кучу свалил. У лаптей от покупателя отбоя нет, а на дуги даже и не глядят.

Продал он все лапти, а дуги на базаре оставил. Их и даром никто не берет.

По дороге нагнал средний брат старичка-дуговичка да и спрашивает:

— Скажи, старичок-дуговичок, почему у тебя дуги идут, а у меня лежат?

— Потому, — говорит старик, — что у тебя дуги простые, а у меня самоходные.

— Какие такие самоходные? — стал добиваться средний брат.

А старик как воды в рот набрал, только посмеивается.

Опять сошлись братья у отца. Опять их отец спрашивает,

как они ремеслами промышляли. Первым стал старший сказывать:

— Обмануло меня каменное ремесло. Еле на харчи заработал да вот продольную пилу купил. В бревне много денег. Надо только их досками да тесом выпилить.

— И я, тятя, другое ремесло нашел, — сказал средний. — Много ли на дуге выгнешь? Полтину с полушкой. Горшки лепить буду. Станок купил.

— Ну а ты, меньшой, что скажешь? — спросил отец.

— За меня братья скажут. Они лапти продавали.

— За твои лапти по загривку надавали. Еле ноги унесли.

— А что в них не так?

— А то в них не так, что ты ремесло ниже денег ставишь, — сказал старший брат, а средний поддакнул:

— И к тому же лапти твои простые, а не самоходные. Я их на базаре бросил.

Задумался младший брат и еще злее за работу принялся.

И братья своим делом занялись. Один тес-доски пилит, другой горшки-плошки на кружале выкруживает.

Опять пришло время на базар ехать. Опять младший просит братьев счастье испытать.

Братья видят — нечем лапти похаять, а хают:

— Для тебя только, как для меньшого... Авось грош с полушкой заработаешь.

Большой базар собрался. Братья свой товар расставили, народ зазывают:

— А вот горшки, плошки!..

— Кому тес, бруски, доски!..

А про лапти ни слова. Потому как их они до базара не довезли, по дороге продали.

Чуть не все в новых лаптях ходят да похваливают:

— Ах, какая обужа! Сапоги снимешь — лапти обуешь. До чего хороши, до чего легки да увертисты.

Лапти хвалят, а от горшков с тесом нос воротят. Из ми-

лости доски на дрова взяли, а горшками с плошками дорогу вымостили. И то польза.

Приехали братья с обновками да с гостинцами, лапотными деньгами похваляются:

— Ах, как доски ходко шли!

— А горшки нарасхват. Не нахвалится народ: до чего хороши, легки да увертисты... Ну, конечно, и лапти кое-какие продали. Вот тебе, братец, выручка.

Подали они меньшому брату полтинник с денежкой. Младший брат от радости заплясал, песни запел:

— Ну, теперь я, братцы, самоходные лапти плести начну, которые вперед денег ходят.

«Плети, дурень, плети. Мы тебя опять оплетем».

Посмеялись над лапотным мастером братья и за дело принялись. Они все-таки не совсем бессовестные были. Хотелось старшему брату хоть одну доску выпилить, которая в дело пойдет. И среднему перед собой совестно было, что его горшками дорогу мостят. Тоже стараться стал.

Опять пришло время на базар ехать. Горшки, доски на воз погрузили, под лапти три подводы наняли.

— Давай, младший братец, услужим тебе. Может, два полтинника да две денежки привезем.

А он наотрез:

— Нет. Не хочу я больше срамить вас своей лапотной работой.

— Да что ты, братец! Да мы для тебя хоть в огонь, хоть в воду. На все согласны. Ты у нас меньшой.

А младший свое:

— Зарок я дал самоходные лапти сплести.

— Какие такие самоходные? Ты что?

— А такие, которые вперед денег сами идут.

Тут братья давай уговаривать младшего. А он ни в какую:

— Ни одного лаптя из бани не выпущу, пока сам не пойдет.

Те к отцу:

— Тятенька, цыкни ты на него! Гляди, какие он слова говорит.

А отец-то давно понял, что за доски пилятся, какие горшки лепятся.

— Нет уж, сыны. Вас я не принуждал и меньшого неволить не буду. Охота ему самоходные лапти сплести — пусть плетет.

Те опять:

— Да разве лапоть может сам пойти? Ты, тятя, что?

А отец им:

— Сами же сказывали, что нужны не простые лапти, а самоходные.

Делать нечего, поехали братья на базар с кривыми горшками да с косыми досками. По дешевке, совсем задарма, доски да горшки продали. Гроши да копейки выторговали.

Тут-то подошел к ним старичок-дуговичок да и сказал:

— Вы бы, братцы, лучше лапотки привезли. Молчком бы продали.



Как только это сказал старичок, народ-то и признал братьев. И ну расспрашивать, почему лаптей нет да из какой они деревни.

Братья то да се, отнекиваются, дорогу к меньшому брату не сказывают, околесицу плетут:

— Лыко ныне плохое... Убыточно стало лапти плести.

Народ видит, что братья чистую воду мутят, — давай допрос чинить. А на базаре бабеночка случилась, которая всех трех братьев знала. Она-то и рассказала все как есть.

Тут народ зашумел. Которые подвыпивши, руками стали размахивать и калеными словами бросаться. Братья еле ноги унесли.

Приехали домой, хотели было отцу наплести семь верст до небес и все лесом, как слышат — весь базар к старой бане подъехал.

— Что за диво?

— Что такое?

Глянули, а старые люди шапки ломают, почтенные мужики спины гнут, младшенького брата уговаривают лаптями оделить, Иваном Терентьевичем величают:

— Ну, скажи ты на милость, Иван Терентьевич, как народу без лаптей жить! Продай хоть по паре на рыло.

А младшенький хоть и оробел маленько, а свое гнет:

— Я зарок дал самоходные лапти сплести, а до той поры из бани не выходить.

Тут старичок-дуговичок выходит вперед и говорит:

— Твои лапти, Ванек, давно самоходными стали. Сами идут. И на базар их возить не надо.

— Тогда другое дело, — сказал мастер. Сказал и стал из старой бани лапти выкидывать. — Берите, кому какие по ноге. Продаю по совестливой цене. Кто сколько даст — такая и цена лаптям... Тятенька, получай деньги. У меня еще одна пара не доплетена. Солнце-то уж садится. Урок кончить надо.



Народ было принялся лапти хватать, только старичок-дуговичок не дал — сам лаптями стал каждого оделять. Кто пять пар просит — он две дает, кто две — он одну.

— Один мастер весь мир не обует. Каждому охота в такой парочке покрасоваться!

Разделил дуговик все лапти. Народ полну котомку денег навалил, не подымешь. Братья стоят ни живы ни мертвы, отцу глянуть в глаза боятся. Тогда старичок-дуговичок и говорит среднему брату:

— Не одни дуги самоходными гнутся. И лапти такими плетутся, и доски такими пилятся, и горшки лепятся.

Крепко с того дня задумались братья. Задумались и за дело принялись.

Много ли, мало ли дней прошло, только стал пилить старший брат самоходные доски, а средний самоходные горшки обжигать.

Из-под пилы доски рвут. Горшкам после обжига остынуть не дают.

Ну, а про лапти уж и говорить нечего.

В чести братья зажили. Звонко у них дело пошло, самоходно. А как оно у вас идет — вам лучше знать. А я чего не знаю, того не знаю.

ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ



ЕЗ ОТЦА Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям Тиша с матерью ходили. Маялись. И ниоткуда ни на какое счастье надежи у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили:

— Что делать? Как быть? Куда голову приклонить?

В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. И есть отчего. Только вытье да нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала к кузнецу Захару сходить.

— Он, — говорит, — все может. Даже счастье кует.

Как услыхала это мать, к кузнецу кинулась:

— Захар, ты, сказывают, можешь моему злосчастному сыну счастье выковать?

А кузнец ей:

— Что ты, вдова! Человек сам своему счастью кузнец. Посылай сына в кузницу. Может быть, и скует.

Пришел Тиша в кузницу. Потолковал с ним кузнец и говорит:

— Твое счастье, парень, в золотом гвозде. Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только подсобляй ему.

— Дяденька Захар, да я же отродясь не ковывал!

— И я, — говорит кузнец, — не кузнецом родился. Раздувай горн.

Стал кузнец показывать, как горн раздувать, как мехи качать, как уголья подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами поковку брать. Не сразу у Тихона дело пошло. И руки ломит, и ноги болят. Спина вечером не разгибается.

А кузнец за отца ему полюбился. Да и Тиша кузнецу по руке пришелся. Не было у кузнеца сына, только дочь. Да и та такая бездельница — лучше не вспоминать. Откуда ей без матери рукодельницей быть? Ну, да не о ней пока речь.

Пришло время, Тиша за молотобойца стал.

Взял как-то кузнец старый шкворень и говорит:

— Теперь давай из него золотой счастливый гвоздь ковать.

Ковал Тиша этот гвоздь неделю, другую, и с каждым днем гвоздь краше становился. На третью неделю кузнец говорит:

— Не перековать бы, Тихон! Счастье меру любит.

Не понял Тиша, к чему такие слова кузнец говорит. Не до них ему было. Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько — угас золотой гвоздь. Остыл. Потемнел.

— Не горюй, Тиша, позолотеет, — говорит кузнец.

— А когда он позолотеет, дяденька Захар?

— Тогда позолотеет, когда ты ему дашь все, что он просит.

— Ничего он, дяденька кузнец, не просит.

— А ты, Тиша, подумай. Неужели гвоздь для того выкован, чтобы без дела валяться?

— Это да, дяденька Захар.



Гвоздь куда-никуда вбить надо. Только во что, дяденька Захар, его вбить? У нас ни кола, ни двора, ни ворот, ни тына.

Кузнец думал-думал, тер-тер лоб да и сказал:

— А ты вбей его в столб.

— А столб где взять?

— В лесу выруби да в землю вкопай.

— А я ведь сроду не рубливал, и топора у меня нет.

— Так ведь ты и не ковывал сроду, а вон какой гвоздь сковал. И топор скуешь. И дерево им вырубишь.

Опять засопел-задышал кузнечный мех, искры полетели. Не сразу, не с маху, а через три дня выковал себе парень топор, сам на топорище насадил и отправился в лес.

Облюбовал Тиша сосенку и ну рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник:

— Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь?

Тиша на это по-хорошему ответил, кто он, и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб.

Лесник видит, что перед ним не вор, не разбойник, а вдовий сын, кузнеца Захара выученик.

— Вот что, — говорит, — коли тебя кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку выруби, за работу столб получишь.

Делать нечего, пошел Тиша в лес. День рубил, два рубил, на третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его снес. А земля бурьяном, полынью, репейником заросла. Некому работать на ней было. Притащил Тиша столб, а вкопать его нечем.

— Да зачем тебе о лопате горевать! — говорит ему мать. — Гвоздь сковал, топор сковал — неужели лопату не загнешь?

Дня не прошло, смастерил Тиша лопату. Глубоко вкопал столб, счастливый гвоздь вбивать начал. Невелик труд гвоздь вбить, когда свой топор, а у топора такой обух, что плясать на нем можно. Вбил гвоздь Тиша и ждет, когда он золотеть

начнет. День ждет, два ждет, а гвоздь не только не золотеет, а буреть начинает.

— Мамонька, глянь-ка, его ржа ест. Видно, он чего-то еще просит. Надо к кузнецу сбегать.

Прибежал к кузнецу, все как есть рассказал, а тот на это и говорит:

— Не может быть гвоздь без дела вбит. Всякий гвоздь свою службу нести должен.

— А какую, дяденька Захар?

— Сходи к людям и погляди, как им гвозди служат.

Пошел Тиша по селу. Видит — одними гвоздями тес пришивают, другими, самыми тоненькими, дрань на крышах прихватывают, на третьи, на самые большие, сбрую, хомуты вешают.

— Не иначе, мамонька, на наш гвоздь хомут надо повесить. Не то ржа все мое счастье съест.

Сказал так Тиша и отправился к шорнику.

— Шорник, как хомут заработать?

— Это плевое дело. Поработай у меня до сенокоса, а от сенокоса до снега. Вот тебе хомут и сбруя будут.

— Ладно, — говорит Тихон и остался у шорника.

А шорник тоже из кузнецовой породы был. Утруждать Тишу не утруждал, но и без дела сидеть не давал. То колодки для хомутов велит пристрогать, то дровец наколоть, то десятину пропахать. Не все сразу получалось. Трудновато бывало, а от хомута отступиться боязно. Не может быть гвоздь без дела вбит. Пришло время — пришел расчет. Получил Тихон самый лучший хомут и полную сбрую. Принес это все и повесил на гвоздь:

— Золотей, мой гвоздь! Все для тебя сделал.

А гвоздь, как живой, нахмурился из-под шляпки, молчит и не золотеет.

Тиша опять к кузнецу, а кузнец опять свое:

— Не может хороший хомут со сбруей зря на гвозде висеть. Для чего-то висит хомут.

— А для чего?

— У людей попытай.

Не стал больше Тиша у людей пытать, задумался. Крепко задумался о коне. Думал, думал да и надумал. Рубить он теперь мог, шорничать тоже умел, ну, а уж про кузнечное дело и говорить нечего. «Золотого гвоздя, — решил про себя Тихон, — не скую, а подручным стоять не оробею».

Простился с матерью и пошел коня зарабатывать.

Году не прошло — прискакал Тихон на своем коне в родное село.

Народ не налюбуется:

— Ах, какой конь! И откуда ему такое счастье?

А Тиша мало на кого глядит, к столбу подворачивает.

— Ну, гвоздь, теперь у тебя хомут, у хомута конь. Золотей!

А гвоздь как был, так и есть. Тут Тихон хоть и тихим был, а накинулся на гвоздь.

— Ты что, ржавая твоя шляпка, надо мной издеваешься!

А на ту пору у столба кузнец случился:

— Ну что тебе, Тихон, бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет — значит, еще чего-то просит.

— А чего?

— Мыслимое ли дело, чтобы столб, гвоздь, хомут да конь под дождем мокли!

Стал Тиша столб крышей покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет. «Видно, мало ему одной крыши», — решил про себя Тиша и принялся стены рубить. Теперь-то уж он все мог.

Долго ли, коротко ли рубил Тиша стены, а гвоздь как был, так и есть.

— Да позолотеешь ли ты когда-нибудь? — крикнул в сердцах Тихон.

— Позолотею. Обязательно позолотею.

У Тихона глаза на лоб полезли. До сей поры гвоздь молчал, а тут на — заговорил! Видно, в самом деле не простой он сковал гвоздь. А то, что кузнец в это время на крыше ле-



жал, Тихону невдомек. Молод еще был, не научился еще сказки, как орехи, раскусывать да ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал.

— Чего же тебе еще, гвоздь, надобно?

На это вместо гвоздя конь Тише ответ проржал:

— И-и-хи-хи... Как мне жить без сохи!..

— Да ты, Буланко, не ржи так жалобно. Если уж я тебя заработал, так соха будет. Сам лемех скую и оглобельки вытешу.

Сковал, вытесал, поперечины наладил, а на гвоздь не идет смотреть. Не до того как-то стало. Другое в голову вошло.

Коли гвоздь хомут попросил, хомут — коня, конь — соху, надо думать, соха пашню запросит.

Запряг Тихон коня в соху. Конь ржет, соха пласт режет, пахарь песенки попевает.

Народ в поле высыпал, на Тишу глядит. Матери девок-невест вперед себя выпихивают. Авось какая приглянется.

И кузнецова дочка тут же, на пашне. Так и ходит за ним, как галка по борозде. Нечесаная, немытая.

— Тишенька, возьми меня замуж! Помогать тебе стану.

Тихон даже шарахнулся от этих слов. Соха в сторону вильнула. Конь не по-хорошему озираться начал, кузнецова страшилища пугается.

— В своем ли ты уме, ворона? — говорит ей Тихон. — Кому ты такая нужна! Разве на огород — ворон пугать. Так у меня еще и огорода нет.

А она:

— Я тебе посажу огород, а сама потом пугалом стану, только бы видеть тебя, Тишенька...

Несуразными показались ему такие слова, а к сердцу припали: «Ишь ты, как любит! Пугалом соглашается быть, лишь бы видеть меня».

Ничего не ответил кузнецовой дочери — к кузнецу пошел.

А кузнец его давно поджидал:

— Тихон, чего я тебе сказать хочу: твой счастливый гвоздь завистники вытащить хотят да в свою стену вбить.

— Это как же, дяденька Захар? Что делать теперь? Не иначе, что караулить надо.

— Так, милый сын, так, — поддакивает кузнец. — Только караулить как? Дождь осенью. Снег зимой. Избу ставить надо.

А Тихон ему:

— Я только подумал, а ты уж сказал. Пойду избу рубить. Топор у меня есть, силы хоть отбавляй. Никакого дела не боюсь.

Опять высыпал народ. Опять невесты гуртом. А он ру-

бит — только земля вздрагивает да солнышко смеется. И светлому месяцу было на что поглядеть-порадоваться. Тихон и ночи прихватывал.

Пришла осень. Сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свез. Утварь всякую в новый дом приволокли. А гвоздь не золотеет. И на душе как-то невесело.

— А отчего-почему, милый сын, на душе невесело?

— Один я, мамонька, вперед других выскочил. Дружков опередил, товарищей оставил. Себе гвоздь вбил, от них счастье скрыл.

— Да ты что, Тиша? Каждый своему счастью кузнец. Так ведь тебя Захар учил?

— Так-то оно так, — отвечает сын. — Только дяденька Захар и про то говорил, что на миру и смерть красна, а в одиночку и счастье плесневеет. Мне все помогали: и кузнец, и шорник, и лесник. А я кому?

Сказал так Тихон и пошел к дружкам-товарищам. Кому верное слово скажет, кому добрый совет даст, а кому и своими руками подсобит. Вдове крышу покрыл. Старику сани справил. Лентяя усовестил. Юнцов к делу приставил.

Зазолотел гвоздь! Со шляпки начал — до середины дошел. Счастье весельем в новый дом заглянуло, дружбой людской зацвело.

Не нахвалится народ на Тихона. До того дело дошло — его, неженатого, по батюшке величать начали, на миру выкликать. А гвоздь день ото дня пуще горит.

— Теперь, — говорит кузнец, — только жениться — не ошибиться. Без огня в избе светло будет.

— А какую-чью ты ему дочь присоветуешь, чтобы ошибки не было?

— Ровню.

— А кто ровня?

— Моя Дунька, — говорит кузнец.

— Ах ты, чумазый мошенник! — взъелась вдова. — Эта кикимора — ему ровня? Немытая, нечесаная, к делу не приученная? Она ему ровня? Ему, маковому цвету, золотым рукам, богатырским плечам, налитому телу? Да разве это дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал?

— А кто, вдова, его орлом сделал?

— Как кто? Гвоздь!

— А кто гвоздь ему подсобил сковать?.. Кто?

Тут вдова вспомнила все, и совесть в ней заговорила. Совесть говорит, и любовь материнская свой голос подает. Жалко ей на этакой неумехе сына женить.

Жалость в левое ухо нашептывает вдове: «Не губи сына, не губи». А совесть в правое ухо свое твердит: «Без матери кузнецова дочь росла, неряхой-непряхой выросла. Он твоего сына пожалел, как тебе его дочь не приголубить!»

— Вот что, кузнец, — говорит вдова. — С первым снегом Тиша на заработки повезет дружков-товарищей, которым он не два, не три десятка золотых гвоздей вбил. Пусть тогда твоя Дуня ко мне приходит. Да скажи, чтобы она мне ни в чем не перечила.

Выпал первый снег. Повез Тихон дружков-товарищей на заработки — гвозди золотить. Явилась Дунька ко вдове.

— Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться.

— Уж так охота, тетенька, так охота! — заливается черномазая Дуня слезами и грязь по лицу размазывает. — Себя бы наизнанку вывернула, только бы он с глаз долой не прогонял.





— Ну, коли так, будем стараться. Я ведь, Дунюшка, как и твой отец, колдую, когда придется.

Сказала так вдова и показала Дуне веретешко:

— Неказистое оно, Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой как-то бабу-ягу в лесу поймал, порешить хотел. А она от него этим веретешечком откупилась. Сильное веретено.

— А в чем его сила, тетенька? — спрашивает Дуня и на веретешечко косится.

Вдова на это и отвечает ей:

— Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь этой ниткой к себе привязать можно.

Тут Дуня повеселела — и хвать веретено:

— Давай, тетенька, я прясть буду.

— Что ты! Разве такими руками немытыми да с такими волосьями нечесаными можно пряжу начинать? Беги домой, умойся, оденься, в баньке выпарься, тогда и прясть будешь.

Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, выпарилась — и красавицей пришла к вдове.

Вдова чуть с лавки не упала — и ну обнимать да целовать Дуню:

— Скажи на милость, какая ты! Давай прясть.

Села Дуня прясть, а веретешко не вертится, нитка не крутится, куделя бугром-комом тянется, а слезы, как жемчуга, катятся.

— Ничего, ничего, Дунюшка. Так ли мой Тиша ковать учился, так ли лес рубил, так ли хомут зарабатывал. Пряди!

День прядет, два прядет. На третий день нитка получаться стала.

— Гляди, тетенька. Теперь привяжу.

А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то да и говорит:

— Такой ниткой не привяжешь. Из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела.

— А когда я, тетенька, до дела дойду?

— А тогда дойдешь, как веретешечко золотеть начнет.

Принялась Дуня опять за работу. Моток за мотком прядет, а веретешко как было, так и есть. За окном уж морозы трещат, метели метут, а веретешко не золотеет.

Испряла Дуня всю куделю и залилась слезами.

Вдова к ней:

— Не горюй, милая дочь. Веретешечко-то, видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток. Холста требует. Давай ткать.

— Что ты, тетенька! Нитки изоткем, чем тогда я Тишу к себе привяжу.

А вдова ей в ответ:

— Нитка в мотке — нитка, а в холсте — сила.

К весне Дуня изоткала все нитки. Много холста получилось. Только не знает Дуня, как с холстом быть.

— Рубаху, Дунюшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой.

Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается.

На славу рубаха сшилась, только глаз остановить не на чем: холст и холст. Не стала тут Дуня совет с вдовой держать — сама придумала, как рубаху изукрасить. Накупила шелку-бисеру, серебра-золота — и ну рубаху расшивать-вышивать.

Не руки, не разум, а сама любовь по рукавам, по вороту жаркий узор выводила. Маком цветет он. Золотом светит. Серебром отсвечивает. Бисером горит.

Глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась. Глаза ломит узор, сердце щемит.

«Непременно веретешко позолотеть должно!»

Схватила она веретешко да тайно к кузнецу прибежала:



— Сказывай, разлюбезный мой сват, черномазый ты мой мошенник, чем гвоздь золотил?

— А тебе зачем?

— Веретешко позолотить надо.

— Аль и моя до дела дошла?

— Да приди погляди, какой узор она вышила. Царевича ослепить можно.

Кузнец открыл сундук, вынул снадобье и давай золотить веретено.

— Да ты не жалей позолоты, хитрец. От конца до конца золоти. Стоит она того, — говорит вдова и кузнеца торопит: охота скорее Дуню порадовать.

Позолотили веретешко, и оба, как молоденькие, вприпрыжку да вскачь рубаху глядеть побежали.

Прибежали ко вдовьему дому, глядят, ворота полые, во дворе Тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе Тихон в новой рубахе красуется и с Дуни глаз не сводит.

Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь, вынула из рукава вдова золотое веретено да и обручили ими жениха с невестой.

Народищу, дружков-товарищей — полон двор. Все сбежались. Всем любо Тихоново счастье видеть... Потому что он никого золотыми гвоздями не обошел и кузнецову хитрую позолоту трудовой правдой повернул. Для всех. Для каждого. Ни от кого не скрыл. Приходи и бери!

Вбивай свой золотой гвоздь, если руки есть...

Мыльные пузыри

ДВЕ ПОСЛОВИЦЫ



БЕРЕЖЛИВЫМ мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилочку. А его дружок Федя — наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник, обязательно чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам собачьей радости — колбасы.



Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да семиголосую гармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать — только глазеть.

Шел Костя на ярмарку лесом, шел — да заблудился. Вдруг видит — голубь летит. А голуби всюду летают, все дороги знают.

— Покажи мне, голубь, дорогу, — просит Костя. — Я тебе денежку дам.

Голубь на это отвечает:

— Зачем же мне денежка? У меня кармана нет. И кто ты такой, чтобы я тебе дорогу показывал?

— А я Федин товарищ, — отвечает Костя.

— Тогда другое дело, — говорит голубь. — Покажу.

Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошел. Идет и видит: мост через реку снесло. Вдруг, смотрит, плотвичка к нему подплывает и говорит:

— Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу.

И показала.

Пришел Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших и плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. Жалко. Столько времени копил.

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, в чем дело, и говорит Косте:

— Не горюй! Жди меня тут.

А у собак, известно, нюх хороший. Они все могут вынюхать и узнать. Любого вора найдут.

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да к Косте принесла. Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула.

Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и семиголосую гармошечку. Идет Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами-сладостями. И птиц, и рыб, и пчел.

Пришел Костя к себе в деревню, нашел Федю и подает ему семиголосую гармошечку.

— Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек!

Тот глазам не верит.

— Да что с тобой случилось, Костя? Какой ты добрый стал!

— Теперь я всегда таким буду, — говорит Костя и товарища обнимает.

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы:

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше».

МАТЬ-МАЧЕХА



СНЕСЛА непутевая Кукушка три яйца. Одно — в иволгино гнездо, другое — в желнино, третье — в щеглиное. Снесла беззаботная мать и улетела в веселые леса куковать, годы предсказывать, людям голову морочить, свою душеньку тешить.

Летала она так, куковала да и о детях вспомнила, что в чужих гнездах росли.

— Пора мне их под свое крыло взять, — сказала Кукушка. — То-то обрадуются милые детушки родимой матушке.

Прилетела Кукушка к иволгиному гнезду, а ее кукушонок и не взглянул на мать. Иволгу матерью называет. Из ее клюва кормится, на ее голос откликается.

— Вон ты каков, неблагодарный! Из моего яйца проклюнулся, а меня и узнать не захотел, — сказала в сердцах Кукушка и полетела в желнино дупло. Увидела там кукушонка и к нему бросилась:

— Здравствуй, сыночек мой ненаглядный! Узнал ли ты свою мать?

Испугался кукушонок невиданной им птицы, на весь лес пищит, Желну кличет:

— Матушка, лети скорее сюда! Чужая тетка хочет меня из родного дома унести.

Прилетела Желна и прогнала прочь Кукушку.

Полетела тогда Кукушка к щеглиному гнезду. Глядит — ее кукушонок Щеглиху перерос. Она еле-еле кормить его поспевает.

— Ну, — говорит себе Кукушка. — Эта-то уж отдаст мне моего обжору.

— Бери, — говорит Щеглиха, — своего подкидыша. Я из сил выбилась, уж очень он много ест.

Как услыхал это кукушонок, задрожал, замахал крылышками и жалобно-жалобно стал просить Щеглиху:

— Дорогая моя, любимая мамонька, я лучше с голоду умру, только из-под твоего материнского крыла под чужое не пойду.

Разжалобилась Щеглиха. Тоже всплакнула.

— Да никому я тебя, мой сыночек, не отдам. Лучше часок-другой недосплю, а тебя выкормлю.

Кинулась тут Кукушка к судье — судом деток отсуживать. А судьей в этом лесу Дятел был. Мигом дела разбирал. И кукушкино дело скорехонько рассудил. По совести, по народной мудрости решение вынес:

«Не та мать, которая деток народила, а та, что их вскормила, вспоила да на ноги поставила».



ЧУГУН И СТАЛЬ



РОЛИЛАСЬ огневой струей из жаркой печи горячая Сталь. Засверкала золотыми звездами, остыла дорогими слитками и зазналась. Перед серым Чугуном так стала себя выхвалять, что тот чуть не изоржавел от стыда.

— Я, — говорит Сталь, — нержавеющая, нетемнеющая, хитро сваренная! Как алмаз крепка, как змея гибка. Закалюсь — не отколюсь! Пилить, сверлить, резать — все могу, на все пригодна! Хочешь — булатом стану, хочешь — иглой! Мостом лягу. Рельсами побегу. Машиной заработаю. Пружиной совьюсь. А ты что, Чугун? На сковородки, на утюги только и годен. Ну да разве еще на станины второсортные да на шестерни молотильные! Не ковок, не ловок, хрупок, как лед. Немодный металл.

Говорит так Сталь, на весь цех себя славит. И самолетом-то она полетит, и кораблем-то поплывет, и чем только, чем она не станет... Даже перо писчее не забыла. Часовую стрелку и ту не пропустила. Все перебрала. Столько наговорила про себя, что в семи коробах не свезти. Но ничего лишнего не прибавила. Была в ее стальном звоне правда.

Конечно, Чугуну далеко до Стали. Только об одном ей забывать не надо бы: о том, что Чугуну она родной дочерью доводится, что она ему своей жизнью обязана...

Ну, а в остальном все правильно, если, конечно, совесть во внимание не принимать.

ФИЛЯ



ХВАЛИЛСЯ Филя, что он все может делать. Все умеет.

Заставили Филю траву косить. Весь день Филя косил. Ничего не накосил. Только время потерял.

— Как же это ты, Филя, оплошал?

— Коса тупа и коса, — отвечает Филя,— то в землю норовит воткнуться, то поверх травы косит. Я лучше коров буду пасти.

Стал Филя коров пасти. Разбрелось стадо. Еле собрали.

— Как же это ты, Филя, оплошал?

— А это не я оплошал, — отвечает Филя. — Это хозяева. Они ноги коровам не связали. А как их несвязанных пасти? Разбредаются. Я лучше баркас буду водить. В рулевые пойду.

Стал Филя баркас водить. Баркас туда-сюда рыскает. Рыскал, рыскал да и сел на мель.

— Как же это ты, Филя, оплошал?

— Клина не дали, — отвечает Филя.

— Какого клина, Филенька?

— Того, которым руль заклинивают, чтобы баркас туда-сюда не поворачивал. Я лучше на скрипке играть стану.

Стал Филя на скрипке играть. Собаки на селе завыли, кошки по чердакам попрятались. Люди на улицу выбежали.

— Ты что это, Филя, народ полошишь? Зачем хвастал, что все можешь?

— Да глазами-то я все что хочешь сделать могу, только руки меня не слушаются. Они во всем виноваты, а не я.

Опять Филя отговорился и правым оказался. Но работы верхогляду с тех пор никто больше не доверял.

ДЛЯ ЧЕГО РУКИ НУЖНЫ



ЕТЯ с дедушкой большими друзьями были. Обо всем разговаривали.

Спросил как-то дедушка внука:

— А для чего, Петенька, людям руки нужны?

— Чтобы в мячик играть, — ответил Петя.

— А еще для чего? — спросил дед.

— Чтобы ложку держать.

— А еще?

— Чтобы кошку гладить.

— А еще?

— Чтобы камешки в речку бросать...

Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал. Только по своим рукам обо всех других судил, а не по трудовым, рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь белый свет держится.

ПРО НОС И ЯЗЫК



КАТИ было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык — один и нос — тоже один.

— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?

— А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слушала, больше делала, боль-

ше ходила и меньше болтала и любопытный свой нос куда не надо не совала.

Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

Ясно?

ТОРОПЛИВЫЙ НОЖИК



СТРОГАЛ Митя палочку, строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.

— Ножик плохой, — отвечает Митя. — Косо строгает.

— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.

— А как? — спрашивает Митя.

— А вот так, — сказал отец и взял палочку да принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, осторожно, старательно.

Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно, старательно.

Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился, вкривь да вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть. На своем настоял.

Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ



ЫЛЬНЫМИ пузырями называют все несовершенное, быстро лопающееся и ненадежное. Между тем мыльные пузыри имеют некоторые заслуги, и вы в этом убедитесь, если захотите прослушать сказку, названную их именем.

Это было давно, если мерить время годами, и совсем недавно, если вести счет на века.

Это было в пышном королевстве, если судить о нем по кружевам на рукавах и панталонах придворных. Это было в нищей стране, если оценивать ее по одежде подданных его величества и провалам щек ткачей и кружевниц.

Это было на королевской площади, где предстояло необычайное зрелище. В заоблачную синь небес должен был подняться первый в этом королевстве большой воздушный шар вместе с его воздухоплавателем.

На королевскую площадь пожаловал сам король и его двор. На королевскую площадь прибыли вельможи, сановники и министры. На королевскую площадь примчались лавочники, подмастерья и ротозеи. На королевскую площадь пришли ремесленники, хлебопашцы и пастухи. На королевскую площадь приплелись старик и старуха из дальней деревни.

Воздушный шар, туго надутый легким газом, готов был ринуться в далекий полет. Его удерживали прочные стропы, привязанные к кольям, вбитым в землю.

Но вот уже все готово. Счастливый воздухоплаватель скоро сядет в корзину, подвязанную к шару. В ней он прославит себя и увековечит свое имя в поколениях.

Народ рукоплещет. Двор и свита приветливо машут шляпами и веерами. Король милостиво улыбается своей коро-

левской улыбкой, от которой так много зависит, которая так дорого оценивается знатью.

Слуги и помощники воздухоплавателя уже обнажили ножи, чтобы отрезать вспомогательные стропы, удерживающие воздушный шар, но в это время какой-то мальчик выдул и пустил радужный мыльный пузырь, затем второй, третий и четвертый.

Как это было смешно и неожиданно! Какими маленькими, ничтожными показались лопавшиеся под общий смех один за другим мыльные пузыри!

Хохотали все. Король и королева. Министры и колбасники. Придворные дамы и торговки каштанами. Шуты и монахи. Старухи и дети. Не смеялись только трое. Старик и старуха из дальней деревни. Не смеялся и воздухоплаватель.

— А почему ты, старик, не смеешься вместе с нами? — спросил его румяный торговец жареным миндалем.

— Я бы ответил тебе, — сказал старик, — но ты слишком толст, и до твоего сердца едва ли дойдет мой ответ.

Торговец вскипел и заорал на всю площадь:

— Вяжите его! Он не желает смеяться вместе с королем.

Старика схватили и привели к королю.

— Ваше величество, — доложил министр двора. — Этот дерзкий старик не изволит смеяться над мыльными пузырями. У него, изволите ли видеть, особая точка зрения на мыльные пузыри.

— Да, — ответил гордый старик, — я никогда не смеюсь над тем, что мне кажется достойным уважения.

— Как! Мыльные пузыри достойны уважения?

Раздался дружный хохот двора и свиты. Когда шум стих, льстивый сановник спросил старика:

— Может быть, тебе трудно смеяться над самим собой? Ведь ты тоже мыльный пузырь, готовящийся лопнуть от страха и превратиться в ничто.

— Вы правы, господин в золотом камзоле, — тихо, но внятно сказала подоспевшая жена старика. — Перед вами

мыльный пузырь. Но уверяю вас, господа, — сказала она, обращаясь ко всем и к королю, — вам будет не по себе, когда вы узнаете, как много заключено в этом мыльном пузыре.

Народ стих, и король дал знак, чтобы она говорила. И вот старая деревенская женщина принялась так красочно и вдохновенно рассказывать, будто фея красноречия вложила в ее уста высокие слова, а фея мудрости — простоту и ясность речи.

— Когда мой муж был молод и пахал землю маркиза, когда мои щеки вызывали зависть роз в саду маркизы, где я работала поденщицей, у меня родился сын. Он рос очень хорошим и пытливым мальчиком. Я и мой муж не чаяли в нем души. Мы учили его в хорошей школе, и все заработанное нами шло для того, чтобы он стал грамотным человеком.

В часы досуга отец, забавляя своего сына, сооружал для него маленькие ветряные мельницы, клеил бумажных змеев и пускал вместе с ним мыльные пузыри. Мыльные пузыри иногда подымались довольно высоко. Потому что они надувались теплым воздухом из горячей груди моего мужа.

Мой муж был неграмотным мечтателем. И он часто говорил сыну:



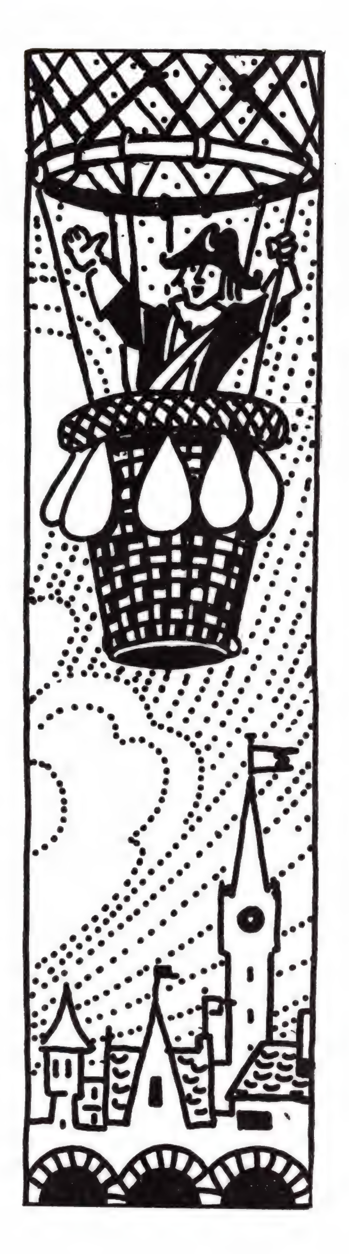
— Малыш! Если бы у мыльного пузыря была прочная оболочка, он бы поднялся высоко-высоко и летел бы долго-долго.

У нашего мальчика загорались глаза. Отец научил его мечтать о полете в небо. Он внушил ему мысль о таком пузыре, который будет больше стога сена и сможет поднять человека. Он верил, что образованный сын изыщет прочную и легкую оболочку для большого пузыря и осуществит отцовские мечты.

— И он их осуществил? — спросили придворные старую женщину.

— Да, он их осуществил, — сказала старая женщина из деревни, указывая на знатного воздухоплавателя, стоявшего рядом со своим отцом. Они, обнявшись, не замечая никого, любовались полетом радужных мыльных пузырей, которые выдувал через тонкую соломинку белокурый сын воздухоплавателя и внук стариков из далекого селения.

Теперь уже никто не смеялся, когда один за другим подымались и лопались мыльные пузыри...



БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ



ОРОШИЙ ветерок подул. Ровный. В такой ветер бумажный змей высоко летает. Туго нитку натягивает. Весело мочальный хвост развевает. Красота!

Задумал Боря своего змея сделать. Лист бумаги у него был. И дранки он выстрогал. Да недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змея пускают. А у Семы большой моток ниток. Ему есть на чем змея пускать. Если бы он лист бумаги да мочала на хвост достал, тоже бы своего змея запустил.

Мочало у Пети было. Он его для змея припас. Ниток только ему не хватало да бумажного листа с дранками.

У всех все есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает.

Сидят мальчики на пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди прижимает. Сема свои нитки в кулак зажал. Петя свое мочало за пазухой прячет.



Хороший ветерок дует. Ровный. Высоко в небо дружные ребята змея запустили. Весело он мочальный хвост развевает. Туго нитку натягивает. Красота!

Боря, Сема и Петя тоже бы такого змея могли запустить. Даже лучше. Только дружить они еще не научились. Вот в чем беда.

ГУСЬ ЛАПЧАТЫЙ



ПРОСЛЫШАЛ как-то Гусь, что пером из его крыла книги пишутся, государственные бумаги подписываются, возгордился и загоготал:

— Го-го-го! Государственная я птица, а не простая. Коли б не мое крыло да не мое перо, чем бы книги писались, как бы указы-приказы составлялись?

Услыхал эту похвальбу Чернильный орешек, на котором чернила настаивали, тоже хвастаться стал:

— Не простой я орех, а чернильный. Коли б не я да не гусиное перо, чем бы книги стали писать, чем бумаги подписывать?

Глядя на них и Старая тряпка нос задрала:

— Из меня бумагу делают. На мне пишут. Не будь меня, да гусиного пера, да чернильного орешка — не было бы грамоты на земле.

— Го-го-го! — гогочет Гусь. — Пойдем втроем народ припугнем. Пускай он нам славу поет, почести воздает. А не то мы его перьев лишим, чернил не дадим, бумагу придержим. Незаменимые мы!

Пошли Гусь, Чернильный орех да Старая тряпка почет добывать, славу требовать. Выслушал их народ и велел вместо гусиных стальными перьями писать, чернила из чернильного порошка готовить, бумагу из дерева вырабатывать.

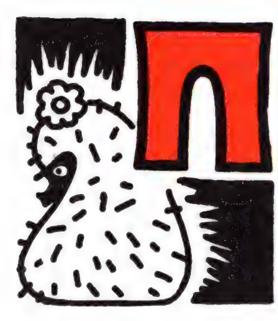
На этом кончилась похвальба Старой тряпки да Чернильного орешка. Тряпкой стали пол мыть, пыль вытирать, а про Орешек даже и забыли, где и на чем он растет.

Притихли Орешек да Тряпка. А Гусь все еще не унимается. Гогочет! Крыльями машет, да взлететь не может. На это

мало кто теперь обращает внимание. Только если случится в народе выскочка, или хвастун, или крикун, люди обязательно про такого скажут:

— Видали, каков гусь лапчатый? А?

ЕЖИХА-ФОРСИХА



РИГЛЯНУЛСЯ Ежихе-форсихе выдровый мех. Не налюбуется.

— Давай, Выдра, одежкой меняться.

— Давай! — говорит Выдра. Сказано — сделано. Поменялись одежками.

Ходит по лесу Ежиха-форсиха, дорогим выдровым мехом похваляется:

— Вот я какая нарядная. Смотрите.

Учуяли собаки-разбойницы дорогой выдровый мех и кинулись на Ежиху-форсиху:

— Снимай, тетка, выдровую шубу!

А Ежиха и в ус не дует. Забыла, что больше она не колюча. Свернулась по старой ежиной привычке в комочек да и подзадоривает собак:

— А ну, попробуйте схватите меня!

А собаки взяли да и схватили.

Поняла Ежиха в собачьих зубах, какого она маху дала, когда свою колючую шкурку-защитницу на выдровый приманочный мех променяла. Поняла, да уж поздно было.

ПРО ТОРОПЛИВУЮ КУНИЦУ И ТЕРПЕЛИВУЮ СИНИЦУ



ТАЛА торопливая Куница шелковый сарафан к лету кроить. Тяп-ляп. Весь шелк искромсала, изрезала в лоскутки. И не то что сарафан — платка из этих лоскутков нельзя сшить. Стала терпеливая Синица из холстины фартук кроить. Тут прикинет, там смекнет, сюда подвинет, туда подвернет. Все она сообразила. Все высчитала, все вычертила, потом за ножницы взялась. Хороший фартук получился. Ни одного лоскутка не пропало даром.

Диву далась Куница. На фартук глядит, завидует.

— Где ты кройке-шитью училась, Синица? У кого?

— Бабушка меня шитью выучила.

— А как она учила тебя?

— Да очень просто. Пять волшебных слов велела запомнить.

— Каких?

— «Семь раз отмерь — один отрежь».



Замок без ключа

ЧЕРТОЗНАЕВА ПАМЯТКА



ЮБИЛ Чертознай Викторович доброго человека приветить, бедного пожалеть, бессчастного осчастливить. Умел по исхоженным дорожкам заново пройти, бывалому ходоку такую тропинку показать, что тот хоть три жизни живи, все равно бы до Чертознаевой простой мудрости не дошел. Из образованных, видно, был Чертознай Викторович. Во все вникал и

даже над самой пустой малостью задумывался и хитроумную отгадку находил.

Об этом и сказ-пересказ, быль-небыль...

Случилось как-то Чертознаю Викторовичу в таежную деревеньку забрести. Зашел он в самую крайнюю избу. У хозяина, кроме краюхи ржаной да луку с квасом, и потчевать нечем. Семья большая, а удача малая. Сильно нужда его затюкивала. Мед у него был. Хороший, стоялый. Дочери к свадьбе припасал, а для гостя не пожалел.

Поел, попил Чертознай, выспался, а наутро в лес собираться начал. Собирается и говорит хозяину:

— Спасибо тебе за мед. Пусть он у тебя никогда не переводится. Пусть он поит и кормит тебя, тепло одевает да хороших сватов в дом зазывает.

Ну а тот с усмешечкой и говорит ему:

— Спасибо, Чертознай Викторович, бедному человеку нельзя обеднеть. К тому же наш брат и посулом сыт.

А Чертознай на это ему:

— Я не купец, не царь посулом одаривать. Оболокайся давай. Хочу тебе мед показать.

Прошли они сколько-то лесом и остановились.

— Глянь, дикая пчелка летит, — указывает Чертознай. — Беги за ней, она тебя к дуплу приведет. Вот ты и с медом.

— Да разве пчелку догонит человек? Смеешься ты, что ли, надо мной, Чертознай Викторович? Сам попробуй, коли прыток.

— Я-то прыток, а ты, видно, нет. Выходит, средство нужно, чтобы пчелка тише летала.

Сказал так Чертознай и поймал пчелу. Потом подошел к елке, добыл капельку свежей смолы и капнул на спинку пчеле, а на смолевую каплю еловую иголочку прилепил.

— Смекаешь?

— Нет, — признался мужик.

— Сейчас смекнешь!



Выпустил Чертознай пчелу. Грузно полетела пчела. С отдыхом. Взлетит, присядет и опять в лет. А они оба за ней идут. Долго ли, коротко ли они шли, только привела их пчела к своему дуплу.

— Вот тебе и мед, — говорит Чертознай Викторович. — Не жадничай смотри. Весь не бери. На прокорм оставляй, чтобы пчелиной семье не сгинуть. Мало будет — другую пчелку поймай. Капни на нее смолкой, еловой иголочкой утяжели. На этом, считай, и конец твоей бедности... Через год в гости жди...

Только и видел его мужик.

Году не прошло — на ноги стал бедняк. Пудами из лесу мед носит. Хорошего зятя в дом принял.

Дивится народ. Откуда это все привалило? Как так получается, что старики, которые на пчеле зубы съели, больше десятка дупел не могут отыскать... А он что?.. Уж не с нечистым ли снюхался? Навалились на мужика:

— Сказывай!

А Чертознай тут как тут.

— О чем спор, мужики?

А те — то да се... И разговору конец. Ясно стало, кто бедному да доброму мужику богатую памятку по себе оставил.

УРАЛЬСКАЯ ПОБАСЕНКА

ЧЕРЕЗ Уральские горы шел дурень с компасом. Шел да и видит — стрелка компаса куда не надо показывает. Балуется. Рассердился дурень на компас и разбил его о скалу, а сам дальше пошел. По солнышку.

Шел следом за дурнем через Уральские горы умный человек. Тоже с компасом. Шел, шел да и видит, что стрелка компаса куда не надо показывает. Не на север. Дурит стрелка.

Задумался умный человек, куда именно стрелка смотрит.

Долго ходил пытливый человек с озорным компасом. В оба глаза за стрелкой смотрел.

Ходил так, смотрел — и увидел, что стрелка на высокую гору глядит. И в какую бы сторону он ни пошел, стрелка на гору воротит.

— Эге! — сказал умный человек. — Никак я магнитную гору открыл — железную руду нашел?

Так оно и случилось.



ЗАМОК БЕЗ КЛЮЧА



ТА СКАЗКА еще в кои веки, давным-давно сказываться начала, а досказаться и по сей день не досказалась. И живет она, как изба без крыши, как шуба без воротника, как петух без голоса.

И кто только ее не досказывал — дедов дед, бабкина прабабка, седой мудрец, рыжий хитрец — никто не сумел досказать. И я не берусь. Кому надо, тот пусть ее и заканчивает. Мое дело начать...

Жил да был веселой и горластой души человек, по прозванию Шумило Горланович Якалкин. Прозвали его так за то, что без «я» он двух слов вымолвить не мог. Якал на каждом слове: я да я. Хвастовством начинал, похвальбой заканчивал.

Чуть что где — Якалкин громче всех шумит. Болото ли народ осушать вздумает, непаханую ли землю пахать начнет, или, скажем, колодец к руде бить — Якалкин тут как тут:

— Братцы! Братцы! Брательники! Я горы ворочать могу! Я реки могу вспять пускать! Я все могу.

Молчат люди, а про себя думают: «На деле тебя проверим, тогда и судить будем».

Жил да был другой человек, по прозвищу Тихей Молчанович Улыба. Поклончивый такой человек, тихий. Молчаливый. Улыбчатый. Не слыхать, не видать. Себя не выказывает, глотку не дерет, разговоров не заводит, теневой стороной ходит. Одним словом, все три прозвания — Тихей Молчанович Улыба — не зря ему в сказке даны. И добавить к ним нечего.

Задумал как-то народ пруд прудить и на нем большую пильную мельницу ставить. Якалкин первым на сход прибежал. Руками машет, языком пашет, словесами сеет, похваль-

бой приборонивает. Если каждому его слову взойти, так за три года урожай не убрать.

А Тихей той порой на бревнышке сидит, молчит, всякое слово улыбчато слушает, как пряник кушает.

Посудили, порядили, плотину застолбили, работать начали.

Хвастун в новой кумачовой рубахе вышел. Рукава чуть не выше плеч засучил. Лопату так наточил, что бриться ею впору. Черенок у лопаты стеклом выскоблил, кожей вылощил. Валяную шляпу петушиным пером изукрасил.

— Эх, шляпа хороша! — хвалится Якалкин. — От солнца глаза застит и от других меня отличает. Все меня по перу увидят, заметят, как ходко я землю швыряю, как круто плотину наращиваю.

А Тихей Молчанович молчком да шажком на работу вышел. В пестрядинной одежке, в долгополом зипуне, с простой малосильной лопаточкой. Ковыряет себе земельку да помалкивает.

— Вот это человек! — говорят старики. — Себя не выказывает. Не петушится. Не то что тот: я да я.

Минул день, другой пошел. Якалкин горластее всех. Песню запел:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

Пришел конец работе. Стали о каждом по делам судить. По труду. Старики замерять принялись — кто сколько? Считали они, мерили — самим себе не поверили. А когда народу объявили — шум поднялся.

— Как это так — Якалкин первым оказался? Всех перекрыл! За семерых сделал! Не может этого быть! Пересчитать надо, перемерить.

Ну ладно. Молодые стали перемерять. Всю ночь считали. А утром еще больше диву дались. Дивись не дивись, а ци-



фирь свое показывает. Вышло, что старики вчера Якалкину за похвальбу меру поубавили. За десятерых с гаком он работу справил.

— Как же это ты мог?

А он им:

— Да я еще не то могу. Не в полную силу работал. Тихея жалел. Вот начнете пильную мельницу рубить, я три угла срублю, пока трое один угол рубят. Я так топор выточу, так его выострю, что у меня дерева сами со страху рубиться будут. Потому как я мастер. В самую точку бью! По семь раз одну прирубку не прирубаю...

И пошел — я да я:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

Ну ладно. Стали пильную мельницу ставить, сруб рубить. Якалкин в шелковой рубахе вышел, в плисовых штанах.

— Не могу, — похваляется он, — на работу оборвышем выходить. Для меня она праздник — веселый день. Если на деле себя не показать, так где же показывать? Не в пляске же. Плясать и медведь может, а топором душеньку тешить не всякий умеет...

И опять свою песню загорланил:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

Ну ладно. Снова пришло время о работе судить. Лесное начальство приехало — пильную мельницу принимать. По его подряду ее рубили. Всем миром-собором углы считали, пригонку пазов ценили, плотноту проверяли.

А Якалкин ходит себе, зубы скалит да песенку попевает:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

В сотню глаз артель изъяны выискивает. И так и сяк хочет Горлановича осадить. Не выходит. Потому что народ правду любит. А правда всегда правдой остается.

— Что делать? Как быть? Неужто Якалкину почет воздавать? Неужто ему наградной топор, как первому мастеру, отдавать?.. Шумило же он! Ячное якало! Горластое кукарекало!..

Судит так, рядит народ, промеж себя шепчется. А Якалкину мало горя:

Все могу и все умею,
Я нигде не оробею...

— Да тьфу тебе! — сердятся старики. — Похвальба ты, распохвальба неумная!

А делать нечего. Цифирь опять свое слово сказала:

— Становись, Шумило Горланович Якалкин, в первый ряд с правого краю... Старики тебе, как первому мастеру, почетный топор с золотой чеканкой подносить будут...

Поднесли топор. Поздравили. Самый старый здравицу сказывать стал. Словами давится, а говорит. Величает. Воздает Якалкину почет, и Тихей Улыба в сторонке стоит. В тени. Жалостливо так, улыбчато молчит. Даже сердце щемит.

Один из стариков заметил Улыбу и сказал:

— Его тоже приветить надо. Уж больно он тих, скромен да улыбочен.

Тут другой старик встрял:

— Тих-то он тих... Только из тихости да улыбчатости сруба не срубишь, пильной мельницы не поставишь, пруда не запрудишь.

— Зато скромность мир красит, — заспорил третий старик. — Тихость да улыбка сердце радуют...

Тут и началось. Особенно когда хмельной ковш второй круг обошел. Одни кричат:

— Хороша улыбка, да пашет неглыбко!

Другие в один голос:

— Мало тот значит, кто много «ячит». Говорун, что тютюн, — дымит да тлеет, а руки не греет.

А третьи наперекор:

— Так он-то ведь не без огня дымил. Правду сказывал. По рукам, по своей силе замахивался...

...И пошли-пошли плести хитрое словесное кружево, пословицами-присловицами сверкать. Так они и по сей день спорят — ни до чего доспориться не могут. От этого и сказка не может досказаться. И живет она, как птица без крыльев, как фонарь без огня, как замок без отмычки. Может быть, вы какой ключик подберете — так милости про-

сим, подбирайте. Вам и жалую эту недосказанную дедову сказку. Вам ее и досказывать по своему разумению. А я не могу. Некогда. Другую сказку из печи вынимать пора. Да вам с пылу, с жару, на стол подавать.

Кушайте, пока она горяченькая. Эта-то уж с концом будет.



ПРО СИЛУ И ПРАВДУ



ЭТУ БЫЛЬ-НЕБЫЛЬ речистая старуха с Высокой горы своим внучатам так пересказывала.

У нашей матери-Земли, кроме всех прочих, две дочери на большой славе были. Сила да Правда. Попервости сестры промеж себя и промеж людей мирно жили. А потом, когда люди начали делиться на бедных и богатых, когда они стали друг дружке на загривок садиться да один на другом ездить задумали, у сестер тоже все поврозь пошло. Одна с одними осталась, другая к другим в услужение перешла.

Правда говорит:

— Где горе, где муки, там и я. С бедными. С обездоленными. Они в труде живут, весь свет кормят, а сами из чужих рук на свой кусок хлеба глядят. На других спину гнут. Я им нужнее.

— А я, — говорит Сила, — там, где мне дело есть. Народ ли какой покорить. Своих ли на колени поставить. Царю ли, хану ли подмога нужна — там и я. Мое дело ратное. Булатное. Огнестрельное. Всех могу полонить, в бараний рог скрутить.

И скручивала. На то и Сила. Служила иродам. Помогала им все к своим рукам прибирать. И землю и лес. И моря и реки. Все движимое и недвижимое. Власть и закон. Дворцы-палаты. Города-села. Руки только народные не тронула — трудовому люду оставила. Чтобы ему было чем сеять-пахать, прясть-ткать, руду добывать, железо ковать — на богатеев работать.

Живет народ с Правдой — горе мыкает. Держит богатей при себе Силу на цепи, как лютого пса, и хоть бы что. Рабо-

той народ гнетет — все сходит. Чуть где Правда свой голос подымет — Силу в дело пускают. Костры, стрельба, виселица. Тюрьма-каторга. Усмирение. Кандалы.

Сила города выжигала. Племена полонила. Миром верховодила. Только Правду извести не могла. Вечная она. Неумирающая. Не зря народ говорит: правда в огне не горит, в воде не тонет.

Не одну, не две тысячи лет Сила Правду терзала. Властвовала. Да сдавать начала. Народ — правдолюб, правдоборец — морем заволновался. Крутой волной пошел. Того гляди, всех насильников смоет, мироедов погребет, богатеев захлестнет.

Завопили демоны. Забегали ироды. Зашевелились.

Коли Сила не берет, уловку искать надо. Богатей с лисой — что брат с сестрой. Не одну сотню хитростей знает. Черным разумом живет.

Вспомнили грабители, что Сила да Правда одной матери дочери. Похожи одна на другую, если сыздаля глядеть. Живехонько Силу под Правду подмазали, припудрили. Тонкую бровь навели, в девичье платье обрядили. Букет васильков в руки сунули, язык подковали. Утончили. И давай врать.

— Вот она, Правда-то где, трудовой народ! С нами она! Вы что? На кого руку подняли? На нее?

Народ малость стих. Силу за Правду принял. А она стоит рука об руку с демонами, как праведница. Утоненным голосом всякие сладкие слова выглаголивает. Знамением Правды осеняет.

Народ хоть и един был, да не одинаков. Нашлись подслепые. Не разобрали что к чему. Поверили. А сердцем глухие и душой слабые на мировую стали звать. Дескать:

— И мироед нам сосед. В одном царстве-государстве живем. Одним солнышком греемся.

А трусливый десяток свои трусливые мудрости выискал:

— Лучше порабощенными жити, нежели убиенными быти.

А те, что вовсе темные, руки к небу воздели:



— Братие, усмиритесь! В ноги ей поклонитесь!

Опять Сила над Правдой верх взяла, да недолго верховодила. Умнеть люди стали. Поняли что к чему. Разглядели румяна да пудру.

— Вперед! — протрубил народ.

Протрубил и пошел на решительный бой. А с ним — Правда. Смелая. Гневная. Во весь рост идет, выше небес. Шире Земли-матери. Грозная поступь. Железный шаг.

Дрогнули демоны. Затряслись ироды.

Побежали пугливыми крысами... Поскакали трусливыми лисами... Поползли ползучими гадами... Кто убег, кто утек, кто замертво лег, кто на колени пал — пощады просит.

Правда строга, да милостива. Всех по совести рассудила. И Сила к ней на поклон пришла.

— Прости меня, великая сестрица, народная царица. Служить тебе буду. Поняла я теперь, что Сила без Прав-



ды гибель людям несет. И Правда без Силы неохранимой живет.

Призадумалась Правда, а потом у народа спросила. Посоветовалась. И народ сказал:

— Толково Сила говорит. Если она отныне будет Правде служить да людям помогать, лучше тогда жить будем. Счастливее.

Сказал так народ и велел Силе за дело приниматься.

Сняла с себя Сила ратный убор и в дальний сундук его положила. На дно. Мало ли... Присягнула Сила народу и Правде верно служить, себя не щадить, потом в рабочую одежду оболоклась и за дело принялась.

Задымили заводы. Запылали домны. Полились огневые железные реки. Заколосилась густая, высокая рожь. Где одну десятину пахали — семь подняли.

День ото дня Сила растет, а за народом не успевает. Рудокоп-землекоп Силу требует. Нелегко лопатой да ломом горы ворочать, руду добывать. Одни наши тагильские домны невесть сколько руды просят. А уж про все другие и говорить нечего.

Порешил народ Силу наращивать. От других чтобы не отставать. Перегородил народ могучие реки. Воду поднял. Силу удесятерил. Выучил он ее по проволоке ходить. Колеса вертеть заставил. Землю копать приспособил. Вагоны возить пристроил.

Пашет теперь Сила. Молотит. Ткет. Медь плавит. Сталь варит. Дома строит, дороги проводит. Лампочкой в доме горит, народ радует. Родную сестру Правду от злого глаза бережет. Труд веселит, со Счастьем его братает.

Так вот и зажили на нашей земле в миру да в ладу Правда и Сила. Одна для другой, и обе для всех. Для тебя, для меня. Для каждого.

Для народа-труженика.

БОЛТЛИВАЯ МОЛНИЯ



НАШИХ местах что ни гора — то сказка, что ни пригорок — то присказка. Всего не переберешь, а кое-что можно перелопатить. Вот, скажем, про Лысую горушку да про Чертозная Викторовича вспомним. Жил-был на Лысой горушке Федяй Огольцов. По прозвищу Божья Милость. Так его прозвали за то, что горел он несчетно по божьей милости — от молнии. Только отстроится, только дым в трубу пустит, бац — молния, пых — изба. Разгребай пепел да репу сажай.

Репа на пожарище растет сладкая, масловитая. Только Федяю горько избу сызнова рубить. Мало дела, что лес даровой и руки некупленые, а намахаешься, пока у двенадцати венцов сорок восемь углов срубишь. А ведь это только срубы. Их на мох ставить надо, а потом и балки-матицы врубать. А по ним пол, потолок стлать надо. Да плотно, чтобы земля с чердака в щели не сыпалась, когда гости плясать начнут. Без стропил тоже не изба. Если о четырех стропилах крыша, и то восемь концов отпилить да врубить надо. А окна? Пусть даже три. Это же шесть рам. Двадцать четыре стекла. Одной замазки большой ком вымажешь, если хочешь, чтобы стужа на печи с ребятами не спала.

Старается Федяй. Из последних сил выбивается, а не сдается.

— Бросил бы ты, Федяй, свою злосчастную горку.

А он:

— Не могу. Никак не могу! Тятенькина память. Родовая земля. Вид с горы хороший. К тому же овощ идет, как на опаре. На полуденном склоне солнце прямым лучом на аршин без малого землю прогревает.

И верно, овощ на горушке хорошо шел. С умом гора поставлена была. Место открытое, солнца на две волости хватило бы. И ветер не забегал — другой горой отгораживался. Приволья на горушке тоже было вдосталь. Под горой, бывало, снег только-только таять начинает, а на горе сухо. Хоть в бабки играй, хоть огород перекапывай.

— Никуда я не уйду со своей Лысой горушки. Никуда! — сказал Федяй, отстроившись пятый раз.

И вскорости так погорел, еле ноги унес. Ребят вытащил, а от стельной коровки даже копыт-рогов не осталось. В баню жить перешел. Она поодаль стояла. Перешел в баньку Федяй и задумался. Так задумался, что с лица почернел.

Родня, дружки увещевают Федяя:

— Брось эту гору! Селись внизу! До каких пор тебе с молнией тягаться, божью милость терпеть! Не лезь на рожон. Не супротивничай. Перебирайся на новое место.

Молчит Федяй. Бороду закусил. Того гляди, откусит. Отец Михаил на гору пожаловал. Проповедничать начал:

— Может, кержаки на этой горе веру раскалывали. И проклял за это бог во веки веков эту гору.

Сомневаться начал Федяй. Совсем было под гору съехал, да бабеночка ночью приплелась. Из несчастных горемык. Приплелась да и говорит:

— Хочешь верь, хочешь не верь, только у тебя одна дорожка: к Чертознаю Викторовичу. Давай сведу я тебя с ним. Худа не будет. За совет он денег не берет. Лаской ему за добро платят.

В этом месте передых-перекур сделаем и про Чертозная Викторовича порасскажем.

Из каких он был, этот человек, не скажу. Из ссыльных ли беглых, из вечных ли поселенцев, цареотступников — не знаю. И где он жил, тоже сказать не могу. Одно скажу: любил его простой народ, хоть и побаивался. Как-никак одно имя Чертознай чего стоит. Выходит, что с чертом он знался. А на самом-то деле ни черта, ни бога этот ученый чело-



век не признавал. Злые люди — чиновники да урядники — Чертознаем этого безымянного человека прозвали для острастки. Запугивали простой народ, которому он помогал. И с заводскими господами знался. Одним хорошие советы давал, других на чистую воду выводил. Господа тоже разные случались. И те, кому Чертознай Викторович поперек дороги становился, рады были его извести. Да как? Его погубишь — сам пропадешь. Многонько знал Чертознай про заводское начальство. К тому же рабочий народ за своего благодетеля горой. Он от ста приставов мог укрыть, да так, что и не найдешь, а голову не ровен час потеряешь.

Вот так и жил, так и скрывался в наших лесах добрый человек под чужим нескладным прозвищем Чертознай Викторович.

Заявился как-то этот Чертознай Викторович на Лысую горушку да и говорит Федяю:

— Скуй ты, Федяй, медное копье трех сажен длиной, в руку толщиной. Нарасти комель копья железной болванкой в хорошее полено да закопай аршина на полтора — два в землю. Притрамбуй хорошенько. А потом избу строй. Вот тебе сто двадцать пять рублей. — И подает Чертознай Викторович сторублевую бумагу, по прозванию «катенька», да пять пятирублевых золотых «рыжиков».

— Погоришь, — говорит, — рубля не возьму. Цел будешь, отдашь, кому я скажу, половину того, что тебе молния укажет.

Сказал так и сгинул в темноте.

Сковали Федяю копье. Нарастил он его с комля болванкой и в землю закопал. Торчит копье острием в небо и будто молнию на бой зовет. Поговаривать стали в народе. Нескладно получается. Как-никак небо. Зачем его гневить?

А Федяю мало до этого дела. Сколько раз по милости неба горел, так какая же это милость, с позволения сказать! И за что оно миловало так Федяя? За труды не покладая рук? За доброе сердце?



Нанял Федяй на Чертознаевы денежки двух плотников и давай с ними в три топора дом рубить. Да не простую избу, а пятистенную. Листовым железом покрыл. Свинцовым суриком покрасил. Перешел к зиме в новый дом. С двойным полом, с двойными рамами. Весело из трубы дым валит, а из конька крыши медное копье торчит. Торчит и на солнце отливает. А Федяй его каждую субботу квасной гущей чистит:

— Знай наших!

Пришло лето. Пришла первая гроза. Высыпал на улицу

народ, глаз с Лысой горушки не спускает. Что будет? Чем небо ответит?

Сверкнула молния, грянул гром. Ударила огненная стрела в медное копье. Стоном застонал народ. Ослепила молния, осветила Лысую горушку. А Федяев дом как стоял, так и остался стоять.

Разговоры пошли:

— Это случай. Мало ли... Упреждал Илья... Убери копье!.. Поглядим, что летние грозы скажут, какова тогда божья милость будет.

Прошел грозный Ильин день. Мечет стрелы Илья, катается в своей громовой колеснице, бьет молния в медное копье, а дом как заколдованный.

— Не иначе, — говорит отец Михаил, — это Чертознаева наука.

Минули летние грозы. Пришел Чертознай Викторович.

— Что скажешь, Федяй Божья Милость? Оберегает тебя мое копье?

— Оберегает, Чертознай Викторович!

— А как ты думаешь, отчего бы это? Молния бьет, а не убивает.

— Не знаю, батюшка Чертознай Викторович!

— Неужто тебе молния ничего не выболтала?

— Нет, милостивец Чертознай Викторович, я с ней разговоры не разговаривал.

— А ты бы спросил ее. Может быть, клад какой в горе зарыт.

— Какой клад, батюшка Чертознай Викторович?

— Не знаю какой. Может быть, медный, а может, железный. Любит она ведь медь да железо. Не зря ведь куда ни попади, а в твое медное копье целит. Через него в землю проходит.

— Это так, Чертознай Викторович. Не рыть ли горушку-то?

— Порой. Помощников пришлю. Помнишь наш уговор?

— Помню, — говорит Федяй, — и от своего слова не отступлю.

Прошло сколько-то дней, привел Чертознай на Лысую горушку десятерых мужиков из самых что ни на есть проклятых судьбой и начальством. Голь. Привел и говорит:

— Вот вам на обзаведение по четвертной. Обзаведетесь — отдадите. А теперь начинайте пробную штольню бить. Как до клада дойдете, меня свистните. Скажу, как дальше быть.

Указал место Чертознай и в лес подался. Недолго били штольню мужики. Клад быстрехонько объявился. Да такой силы, что мужики холодным потом покрылись.

Коренную железную руду открыли. Знай только ломом отковыривай да в таратайки грузи.

Ну, как и бывает в таких делах, набежало на Лысую горушку народу видимо-невидимо. Всякого. Разного. И добытчики легкой поживы налетели. Перекупщики.

— Продай, Федяй, гору. Пять тысяч наличными. Дивиденд особо.

А горное начальство:

— Эта гора непродажная. Казенная гора. Железный рудник здесь ставить будем, а Федяю медаль и пятьдесят рублев пенсия до окончания жизни.

Только Федяй не совсем простоватым был. Бумаги на гору у него форменными оказались. Да и Чертознай Викторович так гору от крючкотворов да стряпчих оберег, что и не подкопаешься.

— Эта гора — тятенькин поминок, — хитрил Федяй, — а железная руда — божья милость. Как ее можно казне передать или, того хуже, купцам продать? Сам буду горой кормиться, в горе трудиться, добрым людям по божьей милости кусок хлеба давать.

И до того Федяй гладко Чертознаевы слова пересказывал, что даже отец Михаил слезу пролил. Проповедь сказал:

— Истину говоришь, сын мой. Да призрит бедных богатая руда. Да обернется во славу... — И все такое прочее.

Сказал так отец Михаил, окропил новый рудник святой водой и медное копье освятил. Из наших же коренных попик был. Понимал, что к чему. Рудными крохами кормился старик.

Прикончил Федяй свой огород, набольшим в артели стал. Что добудут — казне продадут. Дележ простой. Мужикам два пая, бабам по одному. Только недолго это царство бедных на горе поцарствовало. Далеко и широко рудный пласт пошел. Под казенную землю. Не под силу он маленькой артели пришелся. Казна к пласту стала подкапываться. И подкопалась. Так подкопалась, что и Чертознаевой силы не хватило. Пришлось артелке отказаться от «божьей милости», в другие места перебираться, новую милость искать.

Обидно, конечно. А что сделаешь? Казна — она и есть казна. Разве ее перешибешь?

Куда поразбрелись артельные мужики, никто толком не знает. Да и Лысой горушки теперь в помине нет. Всю срыли. Ну а молва про болтливую молнию живет. Молву разве скроешь? Она не только людей, но и гору переживает...



БЕРЕЗОВАЯ РОЩА



ИЛ В НАШЕМ заводе ученый старик. Хорошо разговаривал. Легко. Начнет как будто ни о чем, а кончит так, что задумаешься. К примеру, возьми его сказ про Березовую Рощу. Сколько раз ни прослушаешь, всякий раз новое в тех же словах услышишь.

Проверь, коли не веришь. Перескажу.

Отгорело жаркое летичко. Хлопотливая осень пожаловала и ну ветрами сдувать зеленое платье с берез, семена из них вымолачивать да в сырую землю хоронить.

Отсеялась осень, поприкрыла желтым листом березовые семена, зиму кликать стала. А пока суд да дело, крапива с репейником тоже о своем роде-племени заботились. Тоже под листвяное одеяло семена высеяли.

Пришла зима, застлала белым пухом холодную землю, оборонила семена от лютых морозов: «Спите!»

Проспали семена до теплых весенних дней и пошли в рост.

Репейник испокон веков цепкий, разбойник, живехонько вымахал. Крепко уцепился за сырую землю. Глубоко корни пустил. Ну а про Крапиву и говорить нечего. Дай только ей, хапуге, волю, она и на крыше дома вырастет, бессовестная.

Березовые семена тоже зеленую поросль дали. Хоть и не ах какую — не выше лесного ландыша, — все же росточки о три листочка поднялись. Темновато им было в густом Репейнике, тесновато в Крапивнике, а что делать? Надо расти. На то им мать, старая Береза, и жизнь дала.

— Засыхали бы уж вы лучше! — говорит Крапива.

— Все равно сгинете, — поддакивает ей Репейник.

А Березки молчат, слушают да растут, сколько сил хватает.

Тогда Гадюка свое ядовитое слово вставила. Свою подлую змеиную мудрость стала выказывать:

— Миром, дескать, те правят, которые жгут да жалят.

И старая Жаба, которая тоже в крапивной тени от света пряталась, в угоду Змее подхалимно подквакнула:

— Засыхайте, березовые недокормыши! Короткая-то смерть лучше долгой бескормицы.

Так оно и шло. Их устрашали, а они росли. В тесноте, в темноте, в обиде. А годика так через три, через четыре Березки переросли Крапиву. Пробившись к солнышку, они перестали слушать зловредные слова. Знали, что теперь никакой Крапиве, никакому Репейнику не закрыть от них света и не отнять соки земли.

Шипи не шипи, квакай не квакай, а молодой Березняк растет себе да растет.

Много ли, мало ли лет прошло — зашелестела у всех на виду сильная Березовая Роща. Густая. Ровная. Зеленая. Разговорчивая. Дружная.

Само собой, какая хорошая Роща ни будь, без Крапивы дело не обходится. Росла в ней и Крапива. И Репейник рос. И Гадючки встречались. Жабы, само собой, тоже не перевелись. Что сделаешь? Только никто не называл эту Рощу репейной, крапивной.

Жабы да Змеи, само собой, инако судили. В свою черную дуду дудели. Ну так ведь на то и зовутся они мерзостным словом «гады». Дальше Крапивы не видят, выше Репейника не глядят.

ПРО ДЕДУШКУ САМО



ДЕ И КОГДА жил дедушка Само — никто не знает. Только сказывают, что он на всех заводах переработал, на всех рудниках перебывал. Доменное дело знал и в сталеварском рукомесле тоже понимал. И уголь жег, и листы плющил, булат ковал и руду добывал.

Никакое дело из рук у него не валилось. Все мог. Даже свою смерть подковал. Как она за ним ни гонялась, а догнать не могла. Подковы тяжелые мешали. На обе ноги хромала. И по этой причине дедушка Само жил, пока ему не надоело.

Хорошо жил дедушка Само. Для людей. Не для всех, скажем, а только для честных. И особенно для тех, у кого лоб сухим не бывал, у кого руки попусту не болтались. Для тружеников жил.

Увидит Само трудового человека — обязательно наградит.

Придет к нему, скажем, стариком странничком или старой старушечкой, а то и козлом пожалует или скворцом залетит. Ему что? Он даже черным тараканом мог в дом заползти — счастье принести.

А счастье приносил он особенное. Трудовое. Рабочее.

Копает, скажем, старик землю лопатой. Из сил выбивается. Явится к нему дедушка Само и начнет тары-бары-растабары... О том да о сем. А потом шепнет тайное слово лопате и скажет: «Будь, как я». Только его и видели. Сорокой улетит или там паром растает. А лопата от этого самокопной станет. Сама по себе землю копает. Копает и куда надо откидывает.

У старика глаза на лоб лезут, а лопата за десятерых огород вскапывает, борозды проводит — работы требует.

Или, скажем, рубит парень лес топором. Старается. Свою силу пересилить хочет. Вдруг прилетит к нему дятел, сядет на топор да крикнет: «Будь, как я!» И нет дятла. А топор саморубным обертывается. Сам рубит. Только указывай, в каком месте рубить, какое дерево валить.

Так и во всяком деле.

Пала как-то лошадь, на которой рудобоев сын из горы руду на домну возил. Сгинуть семье. Не на что лошадь купить. И вдруг бездомная собака прибегает. Пролаяла что-то такое телеге, а потом тявкнула: «Будь, как я».

Глядит рудобоев сын — не стало собачки, а телега сама собой самоходно пошла. Даже приказывать не надо. Мысленно управляется. Куда замыслил человек — туда и поворачивает. Мало того, когда надо — сама с себя самосвально руду сваливает.

Много таких случаев в наших местах было. Где только появится дедушка Само, какому рабочему инструменту свое имя передаст — этот инструмент сам собой работать начинает. Даже станки саморезные появились. Пилы самопильные. Лодки-самоходки. Печи-самоварки. Стой да приказывай. Печи сами шихту заваливают, сами выпуск стали производят.

На что корыто, в котором белье стирают, и то дедушка Само одной старухе самостирным сделал. Кидай только в него рубахи, а оно выстирает и отожмет.

И все бы хорошо было, коли б ржа топор да лопату не съедала, коли б гниль корыто не губила, коли б время печи не рушило, телеги не изъезжало.

Пришло время — не стало дедушки Само. Износились его самосильные самоделы-самоходы. Некому было тайное слово сказать и «будь, как я» вымолвить. Осталась только сказка про дедушку Само. Эта — которую я говорю.

Долго она в народе былью жила, а с годами небылью обросла. Пустословицей стала. Редко-редко какой старик другой раз навеселе ее внучатам перескажет. Один посмеется, дру-



гой не поверит, а третий в правое ухо впустит, в ноздрю выпустит.

Только не все внуки такими были. Нашлись ушастые да головастые. Думать стали, разговоры разговаривать.

— Не зря, — говорят, — в народе такая сказка жила. Для чего-то она сказывалась.

Охота стала головастым внукам самокопной лопатой покопать, на самоходной телеге поездить, на самоточном станке поточить.

Задумались молодцы.

Одни стали волшебное слово дедушки Само искать, а другие — самые головастые — в сказке подсказку увидели. Не стали тайного слова добиваться. Голову да руки к сказке-подсказке припрягли. И не ошиблись.

Сама собой лопата копать стала. Сама собой телега побежала. Без коня, без лошади. И мало того — летать начали. Самолетом летательную машину назвали. Самоточный станок самоточкой нарекли. Самобеглую коляску — самокатом. Самовязную машину — самовязкой. Самосвальную маши-



ну — самосвалом... И только ли это? Многое другое именем дедушки Само начинается.

Ученые люди, словесных дел мастера, может быть, все это и по-другому рассудят. Только не надо им сказку оспаривать. Пускай она живет. Душу веселит. Сердце греет да уральских стариков славит, которые в муках мученических, в непосильных трудах эту сказку выдумали и легкокрылой надеждой-роздумью о самосильной машине-помощнице жить заставили...

Пускай живет. Может быть, она еще не к одной новой машине имя дедушки Само приставит.

ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР

Светлой памяти П. П. БАЖОВА посвящается



ЕДУШКА Хитрован Петрович в петры и павлы, в веселый сенокосный праздник, по старому распорядку именинником считался, потому как по метрикам-то он Петром значился. Петрованом звался. А Хитрованом-то уж потом его прозвали. Огня в Хитроване Петровиче было достаточно. Многим хватало. Не одно сердце согрел. Особенно ребячье. А ребятье, надо сказать, вокруг Хитрована Петровича, как воробьи возле ржаного колоса. Есть что клевать: были-небыли, басенки-побасенки, сказы-пересказы... Откуда что берется. Про все знал. Обо всем судить мог.

А больше всего речь шла о руках. Потому как руки у головы — самые главные и самые надежные приказчики. Голова без рук — как отец без детей: есть что приказать, а приказать некому.

Мальчишечьи руки, известное дело, самые хваткие. Особенно по нашим местам мальчата рукастыми растут. Другой еще толком ходить не научился, а уж с топором, с молотком дружбу сводит. Отсюда и пошли в уральских местах отчаянной славы мастера. Поглядишь на юнца — ему до женихов еще лет пять расти надо, а он редкой формовкой стариков удивляет или поковкой слепит. Уклад жизни такой. По рукам голову ценят. Иной кузнец чернее сажи, страшнее пугала, а его ненаглядным зовут, красавцем кличут.

А все оттого, что трудовой народ красоту не в одежке ищет, не в кудрях на пустой голове, не в холеной руке, не в



скрипучем сапоге на дряблой ноге, а в сути всех сутей — в деле.

Эту-то суть ребятишки и выпытывают у Хитрована Петровича: какое им лучше дело взять, чтобы оно из рук не вываливалось да еще счастье принесло, в люди вывело.

Хитрован Петрович сидит, бывало, на своей караульной горушке, подбрасывает дровишек в костер и поучает ребят.

— Без головы, — говорит он, — как и без рук, никакое дело не делается. Но и при умной голове и при сильных руках из ничего чего тоже сделать нельзя. Материал нужен. Дерево, к примеру, или камень. Или, на худой конец, даже вода. К слову, как ты без воды тот же мыльный пузырь выдуешь? Квас без нее тоже не заквасишь и кашу не сваришь.

Заведет так Хитрован ребятишек в словесный лес и ну их там по малым тропкам водить. А к концу разговора обязательно на торную широкую дорогу выведет, и опять притча:

— Хороший материал много значит. А хорошие руки — больше. Одни руки живые цветы веником соберут, скукотой омертвят, другие — мертвую солому веселой шляпкой заставят жить. Словом, когда не к рукам куделя, черен день и долга неделя.

Слушают так ребята, помалкивают да запоминают. Особенно самый меньшой. А старик подбросит хитроумных дровец да дальше стежки-дорожки показывает. Пускай каждый свою ищет, на трудовую дорогу выходит.

Не одну, не две ночи на караульной горушке такие разговоры шли. Подросли ребята. По своим дорогам разбрелись. Каждый по своим рукам кудельку выбрал — свою работу полюбил.

Кто к железной руде пристрастился. Доменщиком стал. Или там рудобоем. Другой мрамор оживлять начал. Третий стал песок в живую стеклянную посуду переплавлять. Четвертый душу в железо вдохнул — машиной его сделал. Пятый еще что-то... Шестой — и пуще того...



Все поразошлись. Один только при старике остался. Меньшой. Дорожки он своей не увидел. А был он из себя лобастенький, зоркий. Росточку хоть и небольшого, а коренастенький. Руки тоже маленькие — не для кузнечного дела. И ноги — не для пахаря. Зато ушаст был сверх меры. Памятливые ушки. Что услышат — не выпустят. Даже птичий разговор запоминали. А уж то, что Хитрован Петрович рассказывал, слово в слово береглось и со своим добавлением пересказывалось.

Вот оно как!

Бывало, мальчонка так Хитровану его же быль-небыль повторит, что старик открывши рот парня слушает.

— Скажи на милость, какая ты дельная пашня! Бросил я в тебя горсть зерна, а ты мне пудов сто урожая намолотил. Да не худородного, а зерно к зерну. Всхожее золото. Придется, видно, тебе, дружок, про материал всех материалов рассказать.

— А что же это за такой материал всех материалов, дедушка Петрован? — спрашивает паренек.

— А такой материал, — отвечает Хитрован Петрович, — что из него все сотворить можно. И небо, и землю, и царства, и государства...

Невиданные цветы, неслыханную красу, несказанное счастье... Хоть каменные палаты из него возводи, хоть хрустальный дворец строй. Реку новую задумаешь — потечет река. Захочешь лес вырастить — лес подымется. Решишь человека из предбудущих лет в нашем дне поселить — поселишь. Мертвого порешишь обессмертить — сбудется.

— Что же это за материал, дедушка? — еще раз спросил мальчик.

А Хитрован ответил:

— Материал это простой. Расхожий. У каждого он на языке. Всякий его знает. Пруд из него прудить можно. Горы наворотить. Всю землю покрыть. А в дело произвести его ой как нелегко!

— А почему так? — допытывался малец.

— Отбор большой надобен. Трудная промывка требуется. Походя из него бесценных крупиц не вымоешь. Да если и вымоешь — в дело пустить их загвоздисто.

Парень не знает — верить, не знает — нет. То ли это сказовая морока, то ли притча какая мудреная.

— Что же это за крупицы такие, Петрован Петрович? Они как бы золотые или самоцветные?

— Да нет, парень. Бери выше.



Случается, что за одну такую крупиночку двух лукошек самоцветов мало. А случаются и такие, что порознь каждая из них ломаного гроша не стоит. А составь их вместе, они вдруг такой ожерелкой засияют, что сто пудов золота — не цена. Тайная сила в этих крупицах. Сила сил! И нет ничего сильней против этой силы, большеглазик ты мой, — говорит Хитрован да кудри каштановые поглаживает, в глаза ему смотрит, будто спрашивает: «Понял ли, о чем речь идет?»

А откуда малолетке понять? До этого понятия и большие не дорастают. Уж не дразнит ли его дедушка Хитрован? Манит куда-то, а куда — не говорит. Закипает парень крутым кипятком и спрашивает:

— Ты мне прямо скажи, дедушка, что это за сила сил, как зовется тот чудесный материал, про который ты сказываешь?

Тут старик не стал скрытничать и прямо сказал:

— Оба зовутся они одним словом — слово! Человеческое слово. И нет ничего дороже его. Нет ничего сильнее его. Город возьмет. Врага остановит. Сердце полонит. Мертвого воскресит. Живого умертвит. На путь наставит, с пути собьет. Ненавидеть научит. За собой позовет. Народы из темноты выведет. Солнцем им засветит. Крылья вырастит... Все подвластно ему... Ежели, конечно, это большое, настоящее слово, а не пустой балабольный звон... Вот и все...

Сказал так Хитрован Петрович и смолк. Пускай сам парень решает, по уму ли ему да по рукам ли эта сила.

...Много воды утекло с тех пор. Погас веселый костер на караульной горе. Давно покинул старую караулку лобастенький да ушастенький паренек. Свою словесную золотую кудель в нитки прядет, простой, каждым знаемый материал перемывает. Силу сил из него выбирает. Дорогие крупицы выискивает.

Много петров и павлов отгуляли косари на уральских покосах. Бородатым стал добытчик бесценных слов. Круглый год на словесном руднике.

Вечен тот рудник. Неистощим. Приходи да бери, добывай речевое золото. Старайся на приисках самородных сказаний. Бей шахту к забытым легендам. Окрыляй светлые помыслы старины самоцветными сказами для детей и внуков.

Так он и делал. Бывало, совсем замшелую небыль найдет — очистит, отскоблит наросты лет. До сути дойдет. До главного зерна. А потом оправит ее в дорогой оклад — и глядишь не наглядишься.

Даже в старом колодце, куда досужие старики синюю старуху ведьму поселили, он сказку добыл. Мимо лебедя даром не проходил. Про эту птицу немало бытует всякого. Сумей только отбери. И горный козел не по одним хребтам бегал. Народ его в своих побывальщинах редким серебряным копытцем подковал. Опять сказка.

А про тайную силу, что нутро гор сторожит, людей привораживает, тоже много всякого в народе живет. В темноте ведь светлые-то камушки добывались. В штольнях. А там мало ли разных страхов? И свою тень за горное чудище примешь. А красот сколько? Сколько каменной росписи? Не сказовая ли все это руда? Бери ее да переплавляй в волшебное литье.

Вот так и ходит старатель-искатель по людям. С народом живет. На рудниках ночует. В цехах днюет. С бывалыми людьми водится. Со стариками дружбу ведет. Мальцов не обходит. Про жизнь слушает. Радостям радуется. Печалям печалится. Во все вникает. Мусором даже не брезгует. Случается, что вместе с ним из другой избы и редкое словечко выметут. Золотник весит, а пудом тянет.

Хмельные гулянки тоже не обходил. Пьяный слова кидает запросто. И не только бранные. Да и ругань другой раз алмазной гранью отсвечивает.

Про казарму и говорить нечего. Там со всех губерний слова в одном речевом строю стоят. Выбирай знай нужные.

Ну а время все шло да шло. Пятьдесят лет за плечами

у сказочника. Пятьдесят зим в бороде. Подморозили они ее. Посеребрили.

Пришел срок последнего белового промыва богатой руды. Настала пора пустить в дело крупицы бесценных россыпей.

Засветил старик ленинский электрический свет (к тому времени он уже в полную силу горел), и ночь не в ночь, день не в день. Крупица к крупице, искра к жемчужине, самоцвет к бисеру, алмаз к серебру, золото к росяной капельке, слово к словцу, строка за строкой, лист за листом оживало пройденное, слышанное, пережитое.

Обязан старый сказочник Хитровану Петровичу первой искрой, а народу — всем. Светлой душой. Трудовым подвигом. Каждой строкой.

И распустились на белых листах неувядаемые каменные цветы. Ожили злые и добрые чудища. Золотые полозы. Голубые змейки. Юркие ящерки. Веселые козлики. Верные лебеди.

Заговорил сказочный край. Горы проснулись. Камни заиграли. Старые мастера загубленную барами славу вернули. Прабабки засветились жаркой девической красой.

Пятьдесят шесть дорогих сказов вычеканил словесных дел мастер, и добрая половина из них — об умных руках, о труде. Ну так ведь рабочего отца сын. В доменном дыму жил. По заводскому гудку время мерил.

Бережно старый сказочник огранял долговекое. И, сам того не заметив, увековечил себя. Великий волшебник труд одарил его силой сил, против которой бессильно даже само время.

И жить да жить теперь долговекому мастеру в бронзе и мраморе. В белых книжных листах. В каменных цветах. В причудливой малахитовой красоте. В родных народу сказаниях...

На все цвета радуги

ЛУНА, ЛУЖИЦА И БЕЛЬМО НА ВОРОНЬЕМ ГЛАЗУ



ОДНАЖДЫ ночью одноглазая Ворона сделала крупные открытия.

Вечером над лесом поднялась полная, румяная Луна.

— Посмотрите, какая я большая! — сказала Луна. — Я больше солнца.

— Да, это так! — подтвердила одноглазая Ворона, заночевавшая на дереве близ болота.

К полуночи Луна отразилась в маленькой болотной Лужице. Тогда Лужица обрадованно воскликнула:

— Смотрите, а я, оказывается, больше Луны! Луна полностью уместилась в моих берегах, да еще осталось достаточно места для звезд.

— Да, это верно, — согласилась одноглазая Ворона и принялась размышлять. — Если Луна, отразившись в тебе, уместилась в твоих берегах и осталось еще место для звезд, ты больше ее. Но мой глаз больше тебя.

— Это каким манером? — спросила болотная Лужица.

— Очень просто, — сказала одноглазая Ворона. — Ты, Лужица, умещаешься в моем глазу вместе с луной и звездами, да еще остается место, чтобы уместить все болото.



Бельмо, сидевшее на левом глазу Вороны, важно сказало:

— Самое большое в мире это я. Стоит мне пересесть на твой правый зрячий глаз, Ворона, и я закрою не только Лужицу с Луной, но и весь мир.

— Да, это правда, — еще раз согласилась Ворона и снова принялась рассуждать о величайших открытиях, которые были ею сделаны в эту ночь.

НА ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ

НА СВЕТЕ жил чудесный певец. Он пел не только задушевно, искренне, от всего сердца, но и красочно — на все цвета радуги.

Его разноцветные песни были так хороши, что вскоре он стал самым любимым народным певцом. Между тем певец не был счастлив...

Он не был счастлив потому, что ему ни разу не удалось спеть такую песню, которая бы понравилась всем. Всем без исключения.

Когда он пел розовую песню с весенне-зеленым отливом и алмазно-росяными искорками, его затаив дыхание слушали все юноши и все девушки. А старики проходили мимо. Вздыхая, они считали весеннюю песню то слишком розовой, то чрезмерно зеленой.

Когда же певец пел алую песню с синей каймой раздумья и серебристыми прожилками мудрости, тогда все люди средних лет распахивали настежь окна своих душ и двери своих сердец. Зато малолетки не обращали на эту песню никакого внимания. Потому что они любили песни ярких цветов и четкой раскраски. Игривые. Узорчатые. Даже клетчатые. И для них приходилось петь особо, как и для стариков. Этим нравились песни строгих расцветок и глубоких колеров.

Разные песни оценивались различно людьми не только по их возрасту, но и по характеру. Весельчаки любили канареечно-желтые, лихо-малиновые и пунцовые песни. Угрюмым нравились песни темно-коричневых и вишнево-лиловых тонов. Ветреные и легкомысленные люди обожали песни любого цвета, лишь бы они были пестры и нарядны...

До седых волос певец добивался такой песни, которая бы полюбилась всем. И старым и малым. Жизнерадостным и пе-

чальным. Задумчивым и бездумным. Из его светлой души вылетали звонкие жар-птицы изумительной красоты звучания. Ими любовались тысячи людей, но каждый раз находились такие ценители, которые выискивали в песне изъяны. Более того — они глумились над нею и даже втаптывали ее в грязь.

Наконец это стало невыносимым, и певец перестал петь.

— Значит, я плохо пел, коли не сумел заставить полю-



бить всех хотя бы одну мою песню, — жаловался на себя, на свой голос певец.

Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои песни, что его услышало солнце. Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осветило певца золотыми лучами.

— Мой названый брат, — сказало солнце. — Тысячи лет я раскрашиваю землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех не могу. Потому что каждому нравится свое. И это очень хорошо.

— Что же в этом хорошего? — негодуя, воскликнул певец.

— Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы остановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в ограниченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать новые песни, а мне — каждый день по-новому всходить.

Так сказало солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в тысячи тысяч цветов и оттенков нашу землю.

От этого на душе певца стало светло и радостно. Ему захотелось походить на солнце. И он снова запел свои песни на все цвета радуги.

И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и слушай. И если из сотен его песен кому-то понравится только одна — значит, певец не зря прожил жизнь, не зря старался походить на солнце.

ШАНТОН-БОЛТОН



ЭТУ СКАЗКУ дедушка в походе слышал, когда солдатом был. Так он ее пересказывал.

В одной державе, на хуторе кичливый петух жил. Шантоном его звали.

Большую птицу этот Шантон из себя строил. Всех обижал. Не только своих куриц — индюка под амбар загонял. Рабочие волы его опасались. Лошади и те побаивались.

Всех пугал:

— Ку-ка-ре-ку! Вся власть в моем голосе. Захочу — раньше времени своей песней зарю зажгу и солнце подыму. Людей на ноги поставлю. Вас, волов-лошадей, до срока пахать-боронить заставлю.

Куда коням деться? А Шантон в ихнюю кормовую колоду с ногами залезает. Овес разгребает. В пищу мусорит. Терпят лошади.

И как не терпеть, когда у Шантона самая страшная острастка была:

— Захочу вот... Кури-ку-ку! Не запою завтра утром... И заря без меня не займется и солнышко не взойдет. В темноте будете жить... Кури-ку-ку!

Тут все к Шантону бросаются. Упрашивают. Ублажают его. Плачут:

— Пожалей нас, пожалуйста, Шантон Кукарекович. Не лишай солнца.

— Ну уж ладно, — скажет Шантон. — Так и быть, пропою. Велю завтра заре заниматься и солнышку всходить. А потом видно будет.

Услыхала эти слова залетная кукушка и прокуковала:

— Ку-ку! Кукарека ты завиральная! Кто тебе поверит?

Шантон на смутьянку кинулся. Да разве ее достанешь! Сидит она себе на дереве и про Шантона такое выкуковывает — прямо хоть под амбар залезай.

А индюк хитрый. Подзадорил петуха:

— Шантон Кукарекович! Докажи им, что ты зажигатель зари и повелитель солнца. Не пой завтра. Пусть один денек в темноте посидят.

И пошел, пошел индюк петуха возвеличивать так, что у того голова закружилась. И он решил не петь.

Ночь минует, а он не поет. Заря занимается, а индюк Шантона подбадривает:

— Цыкни ты на зарю! Мигом сгаснет.

Шантон вылетел тогда из курятника навстречу заре и велит ей:

— Гасни, ослушница! Не занимайся!



А она занимается — пуще горит. Солнце всходит. Глупый Шантон и на солнышко кинулся. Кшикает на него:

— Садись обратно!

А оно выше да ярче. Все ожило. Все радуются. Шантон со стыда под амбар забился.

А индюк только того и ждал. Перья-крылья распустил и на весь свет оповещает:

— Шантон-болтон! Было-боло-буль! Болтон-Шантон! Буль-буль-буль!

На этом и кончилась власть кичливого петуха.

ПЯТЬ ЗЕРЕН



СЛУЧАЕТСЯ на белом свете и так: родится сказка, поживет среди людей и умрет. Или заснет. Спит год, другой... Сто лет спит. Двести спит. Спит до тех пор, пока ее жизнь не разбудит.

Именно так было и с этой сказкой. Она очень долго спала, и ее разбудили, затем переодели в новое платье, потому что старое, в котором она уснула, оказалось весьма обветшалым. Посмотрите, как эта разбуженная и переодетая сказка выглядит теперь.

Тсс... Она начинает сказываться...

Шел молдаванин Ион через русскую землю да и притомился. Заночевал у русского мужика Ивана. Хлебосолен был Иван, да беден. А для гостя ничего не пожалел. Последний горшок молока на стол выставил. Из последнего пятка яиц яичницу зажарил. Последнюю свинку прирезал. На славу угостил. Наелся, напился молдаванин Ион, выспался. Сил набрался, в дорогу собрался, прощаться с Иваном начал:

— Добрый ты человек, Иван, великого ты народа сын. Хоть и не богат я, а хочу вознаградить тебя, чтобы ты меня не забыл и народ твой обо мне помнил.

Сказал так молдаванин Ион и вынул пять зерен. Вынул и говорит:

— Это первое зерно за горшок молока. Пусть оно у тебя никогда не переводится. Весной посеешь зерно, по осени молоко вырастет.

Подал Ион Ивану второе зерно:

— За яичницу это зерно. Посеешь его по весне, по осени оно курицами заквохчет, гусями загогочет.

Подал Ион Ивану третье зерно:

— Не пожалел ты для меня последней свинки. Пусть у тебя из этого зерна стадо свиней вырастет.

Подал Ион Ивану четвертое зерно:

— Не просил я у тебя шерстяные рукавички, ты сам понял, что зимой худо мне без рукавиц придется. Пусть это четвертое зерно овцами вырастет, шерстью обернется.

Подал Ион Ивану пятое зерно и сказал:

— А это пятое зерно самое главное. Памятное зерно. Что вырастет из него — своему народу раздай. Народ век тебя не забудет, сказку про тебя сложит и меня в этой сказке вспомнит.

Взял Иван зерна и спрашивает:

— Как называются эти зерна, Ион, из которых молоко, куры, гуси, свинки, овцы растут?

— Называются они в молдавской земле папушой. А как в твоей земле их звать будут, не мне про то знать.

Сказал так Ион, простился с Иваном и в путь-дорогу отправился.

Минула осень, прошла зима, пришли красные дни весны. Хорошо взрыхлил землю Иван и зерна посеял. Посеял зерна и принялся ждать, когда они молоком нальются, нестись начнут, свинками, овцами вырастут.

Смеется народ над Иваном:

— Слыхано ли дело, чтобы молоко в поле росло?

— Небывалое дело, чтобы зерно поросятами поросилось.

— Как ты, Иван, мог, поверить прохожему? В поле ленконопля растет, а не овечья шерсть.

Молчит Иван, а с поля не уходит. Молочные, яичные, свиные, шерстяные всходы ждет.

Пришло время, проклюнулись ростки и так ходко в рост пошли, как ни одно дерево не росло. Могучие зеленя, высокие стебли. Сбежался народ — глазам не верит. По два, по три колоса на каждом стебле. Невиданные колосья — по хорошему огурцу. По пятьсот, по тысяче зерен в колосе. И каждый колос — на свой голос. Один коровушкой мычит,



другой курицами квохчет, гусями гогочет, третий свинками хрюкает, четвертый овцами блеет, пятый для добрых людей семенным белояровым зерном зреет.

— Вот так папушой! Всемогущий папушой!

Много ли, мало ли лет прошло, зазеленели наши поля высоченным папушоем. Лесом стоит. Бором шумит. Народ веселит.

Стал папушой кормить сочным листом коров, а коровы — дарить нас густым молоком. Вырастил папушой своим сытным зерном жирных свинок, кур, гусей. Едят папушой бараны и овцы. Густо обросли они мягкой шерстью.

Добрую сказку сложили про мужика Ивана, что вырастил на Руси всемогущий папушой, и молдаванина Иона хорошим словом за пять зерен вспомнили.

Далеко пошел всемогущий богатырь папушой. Во все края он,

кормилец, шагнул. Только в наших краях папушой новое имя получил. Белояровой пшеницей его зовут, кукурузой называют.

Вот как теперь стала жить и сказываться старая сказка в новом платье. Пожелаем ей долгих дней. Обережем ее от нерадивого пахаря, темного знахаря и пустого бахаря. Пусть живет она на устах добрых, смелых, настойчивых и трудолюбивых людей.

СВЕЧКА



ОРЕЛА свечка в старом подсвечнике, горела да и отгорела. Погасла. Кончилась.

— Какая она недолговекая, — весело сказал таракан, выползая из щели. — Мало пожила свечка.

— Да, она мало пожила, — сказал, вздохнув, старый подсвечник, — зато ярко горела. Многим от нее было светло и радостно.

Ничего на это не ответил таракан, уползая к себе в щель. Потому что в подсвечник вставили новую свечу и зажгли. А таракан не любил свет и боялся его.

УДОЧЕРЕННАЯ ЯБЛОНЬКА



ТИХО РОСЛА, жидко цвела лесная яблонька. Зато не боялась она ни жары, ни холода, ни ветров, ни пурги. А любить ее никто не любил, миловать не миловал и добрым словом не жаловал. Потому что яблоки у нее были жесткие, да кислые, да мелкие.

— Кому я такая нужна? — жаловалась ветру яблоня. — На что мои сильные корни, закаленные ветви и крепкий ствол? Уж лучше бы мне уродиться липой или сосной. Стала бы я жить бревном в избе или на худой конец скамейкой. Как-никак на людях.

Горевала так она не один год, оплакивала свою судьбу, да счастливый день выдался. Прохожий человек на нее залюбовался.

— Ах какая у тебя крона богатая! Какая ты из себя могучая! До чего ты сильна, яблонька! Дикой красоты красавица.

Как услышала эти ласковые слова яблонька, зашелестела, листочки отряхивать стала, ветки оправлять и весело засмеялась.

— Очень приятно, прохожий человек, что я вам понравилась. Премного благодарна.

— Да за что же благодарить меня, милая? — говорит прохожий человек. — Не по моей воле ты такая, а сама по себе. Не хочешь ли ты, яблонька, ко мне перебраться на жительство? Я тебя удочерю. Воспитаю. Выращу. Свое имя-фамилию дам.

— Да я с превеликим. Хоть сейчас. Выкапывайте, пожалуйста.

А прохожий человек улыбнулся да и сказал:

— Корни боюсь повредить. Осенью жди меня.

Очей не смыкала, ночей не спала яблонька. Дождалась осени. Пришли люди. Обкопали корни. Ящик подвели, подняли ящик с яблоней на телегу и перевезли дикую красавицу в большой фруктовый сад.

Недружелюбно приняли новую подругу-дикарку знаменитые садовые яблони. Пересмешничали. Одна из них говорит:

— Зря вы, яблони, груши, вишни, смеетесь над ней. Она еще покажет себя. Как бы нам, на нее глядючи, завидовать не пришлось.

Хорошо перезимовала яблоня, только по весне многих веток не досчиталась. Сильно обрезал ее названый отец. Но она крепкая была. От природы здоровая и стойкая. Переболела за лето и хорошо на новой садовой земле принялась. Опять к ней ее названый отец с ножом пришел.



— Не бойся, — говорит он, — милая доченька. Боли большой не сделаю. Как оспу привью.

Сказал он так и стал прививать на ее могучие ветви молодые побеги незнаемо дальних яблонь, растущих по берегам теплых морей. Хорошо привил старик. Научно.

Опять солнце, ходя по небу, стало отсчитывать дни и месяцы. Обросла яблоня новыми ветками с новой листвой, не похожей на старую, а через год, через два зацвела яблоня невиданно крупными цветами. Много людей приходило в сад дивоваться этим цветением. Еще больше пришло людей пробовать крупные, сладкие, сочные яблоки. Хвалят. Поздравляют садовода. Едят вкусные яблоки, а семечки яблочные не выбрасывают. В бумажные пакетики бережно прячут.

Завидуют лесной красавице садовые яблони. Не хотят признавать дикарку именитой чудо-яблоней.

— Посмотрим еще, как перезимуют в большие морозы ее новые ветки, привыкшие к нежным ветрам да теплым лучам. Тогда и скажем свое слово.

Особенно сомневалась в этом прославленная антоновка. Да и не только она. Люди тоже опасения высказывали. И сам садовод хоть и верил в могучее лесное здоровье удочеренной яблони, а побаивался лютого яблоневого врага — мороза.

Сильные ударили морозы в эту зиму. Воробьев на лету замораживали морозы. Дышать было трудно. А яблоню им заморозить не удалось. Не удалось им ее лесную силу пересилить.

Год от году пышнее цвела, обильнее плодоносила преображенная яблонька-дочь — яблоня-мать сотен и тысяч деревьев, составивших новые сады.

Теперь-то уж, конечно, она состарилась и стала бабушкой, но все еще цветет неувядаемой памятью по своем отце, великом ученом и труженике, удочерившем дикую яблоню.

СКАЗКА О БОЛЬШОМ КОЛОКОЛЕ



ДАВНО УЖЕ нет в живых того матроса, который кораблем в Англию прибыл и в городе Лондоне занедужил, а сказка о нем живет.

Остался русский матрос в городе Лондоне. В хорошую больницу его положили. Провианту, денег оставили:

— Выздоравливай, дружба, и жди свой корабль!

Сказали так корабельные дружки и ушли обратным курсом в родную русскую землю.

Недолго болел матрос. Хорошими лекарствами его лечили. Микстур там, порошков, капель не жалели. Ну да и жизнь свое взяла. Архангельских кровей парень — коренных поморских родителей сын. Такого разве болезнью сломишь!

Выписался матрос из больницы. Бушлатик почистил, пуговицы надраил. Ну и остальным предметам одежды жаркий утюг дал. В гавань отправился — земляков поискать.

— Нет здесь твоих земляков, — говорят ему в гавани. — Исландия третью неделю туманы гонит. Откуда русским парусам в Лондоне быть?

— Не беда, — говорит матрос. — Я глазастый. И на ваших кораблях землячков сыщу.

Сказал так и на английский корабль ступил. Ноги о матик вытер, флагу честь отдал. Доложился. Представился.

Англичанам это любо. Потому как морской порядок везде один.

— Смотри ты каков! По всей форме моряк. Только жалко, что земляков тебе на нашем королевском корабле не сыскать.

А матрос на это улыбается, ничего не говорит, к гротмачте направляется.

«Зачем, — думают моряки, — ему наша грот-мачта понадобилась?»

А русский матрос подошел к ней, погладил ее рукой и говорит:

— Здорово, землячка архангельская сосна!

Очнулась мачта, ожила. Будто от долгого сна проснулась. Мачтовым русским бором зашумела, янтарной смоляной слезой прослезилась:

— Здравствуй, земляк! Рассказывай, как дома дела.

Переглянулись английские моряки:

— Смотри ты, какой глазастый! Землячку на нашем корабле сыскал.

А матрос тем временем с грот-мачтой задушевные разговоры разговаривает. Какие дома дела, рассказывает, мачту обнимает:

— Ах ты, милая моя, хорошая! Мачтовое ты чудо-дерево. Дух твой родной-лесной ветры не выдули. Гордость твою шторма не согнули.

Смотрят английские моряки — и борта корабля русскому матросу улыбаются, палуба под его ноги стелется. А он в них родной сердцу узор узнает, родные леса и рощи видит.

— Гляди ты, сколько у него земляков! На чужом корабле как дома, — шепчут про себя английские моряки. — И паруса к нему ластятся.

Ластятся к матросу льняные паруса, и конопельные-корабельные канаты-швартовы у его ног извиваются, как к родному льнут.

— А паруса-то к тебе зачем ластятся? — спрашивает капитан. — Они-то ведь в нашем городе Лондоне вытканы.

— Это так, — отвечает матрос. — Только до этого-то они льном-долгунцом на псковской земле росли. Как мне не приголубить их! Да и те же канаты взять. И они ведь у нас четырех-пятиаршинной коноплей уродились. Потом и к вам пожаловали.

Говорит так матрос, а сам на якоря косится, на пушки по-

глядывает. В те годы наше железо, наша медь, наш чугун с Уральских гор ходко шли в Швецию, в Норвегию, в Англию.

— Ну до чего ж я в хорошую компанию попал! — радуется матрос.

— Ах какой ты глазастый, русский матрос! Везде свое, родное разглядеть можешь. Дорого, видно, тебе оно.

— Дорого, — ответил матрос и принялся такое про наши края рассказывать, что зыбь на море стихла, чайки на воду сели.

Вся команда заслушалась.

А в это время на главной лондонской колокольне часы отбивать стали. В большой колокол ударили. Далеко его бархатный звон над полями, лесами, реками поплыл и по-над морем пошел.



Слушает этот звон русский моряк, не наслушается. Даже глаза закрыл. А звон дальше и дальше разносится, на низкой, отлогой волне укачивает. Нет равного ему голоса на всех колокольнях старой Англии. Старик остановится, вздохнет, девица улыбнется, дитя стихнет, когда этот большой колокол зазвонит.

Молчат на корабле, слушают. Любо им, что русскому матросу звон ихнего колокола по душе пришелся.

Тут моряки, смеясь, спрашивают матроса:

— Не земляка ли опять ты в колоколе признал?

А матрос им в ответ:

— Не могу твердо сказать, а голос у колокола знакомый. С московским выговором, с русской протяжностью.

Удивился английский капитан, как это русский матрос свое родное не только видеть, но и слышать может. Удивился, а про колокол ничего не сказал, хотя он и доподлинно знал, что этот колокол русские мастера в Московии для Англии отливали и русские кузнецы ладный ему язык выковали.

Промолчал корабельный капитан. А по какой причине промолчал, про то сказка молчит. И я промолчу.

СЕМЬ КОРОЛЕЙ И ОДНА КОРОЛЕВА



ЕКОГДА на свете жила до безумия злая и до ужаса страшная королева. Все это унаследовала она от своих предков: королей и королев, герцогов и герцогинь, царей и цариц, графов и графинь... Они из рода в род приближались все более и более к зверям в обращении со своим народом. Они, обожая хищников, изображали свое могущество на фамильных гербах в виде львов, тигров, орлов, крокодилов, удавов, пантер и скорпионов. Королева, о которой идет речь, была живым олицетворением всех этих гербов и даже более того... Она была страшнее самого Страха и всех ведьм, какие только были в сказках.

Судите сами, какова эта королева, если на ее голове вместо волос росла кабанья щетина и она была вынуждена носить тяжелый шлем, крепко-накрепко пристегивая его ремнем к подбородку. Но и при этом, когда тигриное сердце королевы закипало гневом и щетина становилась дыбом, шлем приподымался на восемь, а иногда и десять дюймов над ее головой.

Налитые злобой ее глаза приводили всех в ужас, и она вынуждена была носить темные очки.

Так как вместо ногтей у нее росли львиные когти, ей ничего не оставалось, как носить перчатки из толстой лосиной кожи. Обычные лайковые оказывались недостаточно прочными: когти прорывали их тотчас, как только она выходила из себя.

Лютая королева приводила в отчаяние бедный, трудолюбивый народ.

Между тем в королевстве находились люди, которым была нужна именно такая королева. Тут мы должны сказать



о семи некоронованных королях, управлявших при посредстве коронованной королевы страной и народом.

В этом королевстве в отличие от всех других королевств все богатства принадлежали семи хозяевам, семи богачам, семи властелинам всех земель, всех лесов, всех рек, всех овец, всех ткацких и прядильных станков и всего, что растет, добывается и перерабатывается.

Эти семь некоронованных владык и были настоящими королями королевства, а коронованная королева была при них. Да, при них! Как топор при палаче! Как зубы при волчьей пасти! Как жало при змее! Как нож при разбойнике! Словом, страшная для всех, она была послушной и очень исполнительной королевой при семи королях.

Они писали от имени королевы законы, объявляли ее устами войны, казнили, судили, миловали — словом, делали все, что им было выгодно.

Королева отлично владела мечом, отсекая сразу по семи голов. Она стреляла из мушкета без промаха и орудовала ножом, как морской разбойник.

Безоружную королеву боялись еще больше. Она снимала перчатки, шлем и очки. Щетина на ее голове дыбилась так страшно, налитые кровью глаза сверкали так убийственно,

и когти вонзались в жертву так глубоко, что армия становилась в диспозицию «на караул», а двор падал ниц.

Народ этого королевства, умевший только трудиться, не знал способа избавления от жестокости королевы и рабства семи королей и жил надеждами и молитвой. Но нашлась добрая волшебница. Да. Такая волшебница еще сумела уцелеть в этом жестоком королевстве!

И волшебница посоветовала приставить служанкой к королеве самую красивую, самую умную, самую сердечную, самую добродетельную девушку, уверяя, что она победит королеву.

Ничего не оставалось, как испробовать это средство. Вскоре был произведен всенародный опрос и выяснилось, что самая красивая, самая умная, самая сердечная и добродетельная девушка королевства не кто иная, как дочь одной прачки.

Когда девушку привели во дворец королевы, то все заметили, что во дворце стало светлее. Это светились солнечным светом золотистые волосы девушки. Никто и никогда не видел еще таких волос!

Как только девушка подняла веки, то все поняли, что в ее глазах голубое небо и тихое синее море оспаривают первенство по красоте. Вот тут и началось то, ради чего рассказывается эта сказка. Семь некоронованных королей сразу же поняли, что народ хочет смягчить нрав королевы, а это могло послужить причиной ослабления их власти, снижения их доходов. И они шепнули королеве:

— Ваше величество, народ нарочно подослал эту красавицу во дворец, чтобы умалить вашу красоту.

Сказанное достигло цели. И когда взбешенная королева стала снимать перчатки, готовясь вонзить свои когти в грудь девушки, чтобы вырвать ее сердце, девушка мягко заметила:

— Ваше величество, кто из придворных так запустил ваши ногти? Прикажите подать мне маленькие ножницы, и я тотчас же сделаю вам маникюр.

Королева опешила. Никто еще не разговаривал с нею так

сердечно и просто. Она милостиво протянула сначала левую руку, а потом правую. Не прошло и десяти минут, как когти превратились в обычные ногти.

— Моя верноподданная служанка, сожги эти лосевые перчатки и принеси мне мои перстни.

— Погодите, ваше величество, — сказала девушка. — Перстни не подойдут к этому воинственному наряду. Нужно снять шлем.

Придворные пали ниц. Армия взяла «на караул». Потому что никто и никогда до сих пор не смел разговаривать с королевой таким образом.

А девушка, сказав так, сняла шлем и уверенно пригладила вздыбленную щетину на голове королевы. Щетина покорно легла под доброй рукой, покорно далась причесаться.

— Моя фрейлина, — сказала королева, обращаясь к девушке, — вели принести мою корону.

— О! Ваше величество, — возразила девушка. — Пойдет ли вам корона при темных очках?

Двор снова в испуге пал ниц. А девушка, сняв темные очки королевы, сказала:

— Ваше величество, попытайтесь доверчиво и доброжелательно взглянуть в мои глаза.

И королева сделала это. И снова совершилось удивительное. На белках пропала краснота. Глаза вернулись в свои орбиты. И в этом не было никакого волшебства! Девушка, как и многие люди, знала, что если долго смотреть хорошими, добрыми глазами в злые, то злые глаза обязательно подобреют. Именно этот простой способ и применила смелая девушка.

Так дочь прачки оказалась первой фрейлиной-подругой королевы и довольно влиятельным лицом при дворе.

В королевском дворце стали появляться простолюдины, ходоки из дальних графств и герцогств. Королева нередко выслушивала их, даруя им некоторые смягчения в податях, поборах и телесных наказаниях.

Все это озлобляло некоронованных королей, и они составили тайный заговор против юной фрейлины. Подослав к королеве привидение, они оболгали фрейлину и ее жениха-молотобойца.

Это была подлая и ужасная интрига. Она заключалась в том, что будто бы фрейлина хочеть умертвить королеву и, заняв ее трон, выйти замуж за молотобойца, сделав его первым канцлером королевства.



В королеве снова проснулось звериное. Ее волосы стали жестче, в глазах появились злые блики, начали расти ногти. Она в ту же ночь тайно отправилась в королевский парк, где ее фрейлина встречалась с молотобойцем.

Королева, как рысь, взобралась на дерево и притаилась в его ветвях. Медленно тянулись минуты ожидания. Но вот мелькнула тень, за нею другая. Королева услышала голос своей фрейлины.

— Милый, — говорила она молотобойцу, — я не знаю, что еще можно сделать, чтобы наша королева была добрее. Я не пожалела бы отдать ей свою жизнь, лишь бы лучше жилось нашему бедному народу.

Услыхав это, королева почувствовала, что ее ногти перестали расти, а глаза наливаться кровью. Она стала слушать дальше.

— Милая, — сказал молотобоец, — отдай королеве свои золотые мягкие волосы... У кого мягкие волосы, тот не бывает злым.

— Милый, но не разлюбишь ли ты тогда меня?

— Милая! Разве твои волосы главное в тебе? Будь щедра! Народ не забудет этой услуги. Народ так давно мечтает о добром короле или о доброй королеве.

На другой день королева проснулась и не узнала себя. Нежные золотистые волосы ниспадали до пят с ее головы, и серые стены Северной башни золотились от их света.

В этот день были отпущены на свободу четыреста узников. В этот день на одну десятую были уменьшены поборы и подати. В этот день королева появилась в своем дворце с непокрытой головой, а юная фрейлина впервые покрыла свою голову большим платком.

«Ну и что же, — решила фрейлина, — зато моему народу стало легче!»

Семь некоронованных королей скрежетали зубами.

Через неделю в Северной башне, где спала королева, сно-

ва появилось привидение. Оно снова оболгало юную фрейлину.

— Благодарю вас, — сказала королева привидению и снова отправилась в королевский парк. И она снова услышала мужественный голос молотобойца:

— Милая, если ты хочешь счастья своему народу, обменяйся с королевой глазами. Она будет видеть жизнь твоими чистыми глазами.

Верная дочь народа не пожалела для королевы своих ясных, голубых и лучистых глаз. Она отдала королеве и нежный цвет своей кожи, покатость плеч и тонкие, как ветви березы, руки.

Королева проснулась красавицей. Фрейлина проснулась... Ах, не будем говорить, какой она проснулась в это утро, обменявшись глазами, цветом кожи и покатостью плеч с королевой. Мать не узнала свою дочь, но не проронила ни слова, ни слезы. Потому что она тоже служила своему народу и тоже ничего не жалела для него, даже единственной дочери.

В это утро королева увидела мир другими глазами, глазами дочери прачки. Она увидела, что ее народ бос, наг и голоден. Она увидела, что из тридцати трех мер выращенного зерна народ получает только три меры; что из тридцати локтей и трех дюймов вытканного сукна народ получает только три дюйма; что из тридцати трех овец народ стрижет для себя только три овцы. И так всюду и везде тридцать частей присваивали некоронованные короли, а три отдавались народу, и то лишь потому, чтобы он не умер с голоду и не перестал работать.

Королева, видя все это, все же не могла понять несправедливости такого распределения благ, потому что она рассуждала, как королева. В королевской голове были королевские мысли, которые не могли допустить иных отношений между теми, кто, трудясь, создает все богатства и кто присваивает их.

Теперь молотобойцу стало ясно, что королеве мало одних

чистых глаз, ей нужны и светлые мысли. Потому что правильно увиденное нужно еще и правильно осмыслить. И молотобоец сказал невесте:

— Милая, отдай королеве свой светлый ум.

— Что ж, милый, пусть будет так. Пусть ты разлюбишь меня и я буду несчастна, зато станет счастливым мой народ, — сказала она, и ночью при помощи доброй волшебницы бедная девушка отдала королеве свои мысли.

Королева проснулась со светлой и мудрой головой. Она стала думать так же, как и ее народ.

Теперь можно было надеяться на решительные и коренные перемены в королевстве. Теперь можно было верить, что земля перейдет тем, кто пашет ее, что ткацкие станы будут принадлежать ткачам, а прялки — прядильщицам, рыбы — рыбакам, леса — лесорубам, овцы — пастухам, а свобода — всем.

Теперь можно было предположить, что все созданное народом станет народным и на троне появится долгожданная народная королева, одинаково заботящаяся о косце и звездочете, о прачке и музыканте, о корабельщике и стихотворце.

Но... этого не случилось. Молотобоец просчитался. Он не знал, что высокие, благородные мысли королевы при ее черством и равнодушном сердце не могли воплотиться в жизнь. Они так и оставались высокими мыслями в ее голове.

— Королеве необходимо большое, горячее сердце! — воскликнул молотобоец.

Оставалось последнее, что было у дочери прачки.

— Если я отдам сердце королеве, — плача, говорила она молотобойцу, — то чем я буду любить тебя?

— Мы разделим с тобой пополам мое сердце. С нас хватит и одного. Зато у королевы будет лучшее из сердец нашего народа!

Девушка отдала королеве свое трепетное, любящее, доброе сердце, и вскоре на новом королевском троне, вырезан-

ном из простого дерева деревенским столяром, появилась народная королева. Она появилась точь-в-точь той народной королевой, какой хотел видеть ее народ в своих волшебных сказках.

Ее золотые волосы были распущены и украшены всего лишь одной тонкой ниткой красного гаруса, а вместо короны красовался венок из темно-синих васильков, какие растут только во ржи.

На королеве было надето льняное платье, окрашенное искусным стариком красильщиком в цвет майского неба. Ее тонкие руки были обнажены. Даже самые красивые перчатки не смогли бы украсить их, так они были прекрасны.

На ногах королевы красовались маленькие туфельки, сплетенные из ста лык липового луба. Вместо скипетра — жезла королевской власти — она держала в руках колосья пшеницы.

Вокруг королевы сидели народные министры. Это были ткачи, рудокопы, кузнецы, земледельцы, пастухи, рыбаки и лесорубы.

Народный канцлер и народные министры обсуждали новый закон, который отнимал у семи



некоронованных королей присвоенные ими народные богатства и право порабощения.

В этот день народ хлынул на улицы городов и селений. Он прославлял ум и сердце народной королевы. Он слагал счастливые песни свободного труда. Но в тот же день во дворце раздался предательский выстрел...

Сердце королевы перестало биться.

И народ снова оказался в ярме рабства семи некоронованных королей.

Народу было приказано забыть народную королеву, а историкам строго-настрого запрещено упоминать в своих историях о королеве, которой народ отдал свое сердце. Было велено считать все это еще одной несбыточной сказкой.

С тех пор народ перестал мечтать в своих сказках о добрых народных королевах или королях и никогда не отдавал им своего сердца...

Так закончил эту сказку старый моряк, гостивший в нашей стране.

Так ее закончу и я, потому что она кончилась и мне нечего добавить от себя. Да и можно ли что-то добавлять в чужие сказки? Их нужно слушать...

Мелкие калоши

БЕЛАЯ БАБОЧКА



ТАМ, ГДЕ кончается синий лес и начинается золотая степь, старая Тушканиха вырастила пушистого сына. Выучила она его, чему могла, и стала напутствовать такими словами:

— Осторожнее будь, Тушкан, в молодой жизни. В оба гляди. Не всякому зверю верь. С умом невесту выбирай. Работящую.

— Ладно, говорит Тушкан, — в оба буду глядеть, с умом невесту выбирать.

Стал Тушкан свою молодую жизнь начинать, невесту подыскивать.

Белочку увидел. И до чего же у нее хвост хорош! Так и развевается. Одна беда: не в норке живет, а в высоком дупле-тереме. Не достанешь.

Ежову дочку приглядел. В норке живет. Да колюча.

У Крота Кротовочки тоже хороши. И шубки мягки, и лапки копки, и сами ловки. Всем Кротовочки лепы, да малость подслепы. Глаза малы. Днем плохо видят.

— Не искал бы ты, Тушкан Пушканович, худа от добра, — говорит Серая Сова. — Не по одежке бы невесту искал, а по работе выбирал.



А тот ей:

— Да нет, Сова Совинична, я не хочу жить, как все. Невеста моя должна быть на особицу. Уж очень у меня мех пушистый.

Только он сказал это, как видит — над ним Белая Бабочка вьется. Складненькая. Маленькая. Аккуратненькая. Так порхает... Такие узоры своим полетом выпархивает — загляденье. Диву дался Тушкан.

— Кто ты такая, прекрасная Белая Бабочка? Чья?

— Да ничья пока. В невестах летаю. Жени-

ха в хорошей шубке подыскиваю.

Говорит так Белая Бабочка, а сама белой гладью шьет, воздушные вензеля вышивает. Глаз с нее не сводит Тушкан.

— У меня шубка хорошая, — говорит он. — Пушистая. Не зря меня Пушкановичем величают. Выходи за меня замуж, Белая Бабочка.



— Ну что ж, — отвечает она, — выйду, если работать не заставишь.

Тут вспомнил Тушкан материн наказ и спрашивает:

— А что же ты есть будешь, коли работать не станешь?

— А я вместо завтрака цветы нюхаю. Солнечным лучом обедаю. Алой зарей ужинаю.

— Это хорошо. А где ты жить будешь?

— Я бабочка складненькая, маленькая. Много ли мне места надо? В твою мягкую шубку забьюсь, в шерстке спрячусь. Куда ты, туда и я. Всегда при тебе.

— Лучше и не придумаешь, — говорит Тушкан. — Очень даже удобно. Селись в моей шубке.

Поселил Тушкан Белую Бабочку в своей шерстке. Куда он, туда и она. Ему хорошо, а ей того лучше. Живет Белая Бабочка в тепле, в светле, в мягкости. Одно только Тушкану непонятно: как можно вместо завтрака цветы нюхать, солнечным лучом обедать и алой зарей ужинать. А спрашивать не стал.

«Значит, порода такая благородная», — решил про себя пушистый зверек.

Прошло сколько-то времени — вдруг у Тушкана шерстка редеть начала.

— Отчего бы это, дорогая Белая Бабочка?

А та ему ласковым голосочком отвечает:

— Не иначе, Тушканчик-Пушканчик, твоя старая шерстка линяет и новая подрастает.

Поверил Тушкан Белой Бабочке, а шерсти день ото дня все меньше и меньше. Совсем поредел мех. Пересчитать волоски можно.

Не на шутку закручинился Тушкан Пушканович.

— Уж не болезнь ли какая приключилась со мной, дорогая Белая Бабочка?

— Да что ты, да что ты! — успокаивает она его, а сама к заячьей шубке приглядывается, с молодым Бурундуком веселые разговоры заводит, о здоровье у старого Барсука спрашивает.

Весь лес знает, какая беда приключилась с Тушканом Пушкановичем, только ему невдомек. Белки, Ежовки в глаза над облысевшим Тушканом смеются. Подслеповатые Кротовочки и те видят обман Белой Бабочки, а Тушкан и ухом не ведет.

Прознала и старая мать, что неладное с сыном творится. Прибежала к нему и чуть от разрыва сердца не померла.

— Сыночек мой! — завопила Тушканиха. — Кто это тебя до ниточки, до шерстиночки обобрал? Ты же совсем голый? Кому ты теперь такой нужен?

— Это верно, — сказала Белая Бабочка, доедая последний волосок Тушкана Пушкановича. — Тут мне больше нечем лакомиться. Пора в другой мех переселяться.



Сказала так, захихикала, вспорхнула и полетела в барсучий лес.

Сразу узнала Тушканиха по хитрому путаному полету Белой Бабочки вредную моль. Узнала и залилась горькими слезами, оплакивая голого сына.

— Да не горюй ты, не горюй, Тушканиха, — утешает ее Серая Сова. — У него шуба не купленная, а живая, своя. Вырастет шерсть да еще гуще будет.

Так и случилось. Продрожал голышом всю зиму Тушкан в материной норе, а по весне оброс пушистой шерстью. Заново бедняга решил жизнь начинать, с умом друзей выбирать, по работе ценить лесных жителей. По труду!

ЗОРКИЙ СЛЕПЕЦ



У НЕГО был только один глаз, да и тот искусственный. Зато очень зоркий. И он весьма гордился своим голубым глазом.

— Я могу видеть им даже при слабом освещении. И не только видеть, но и в течение доли секунды запечатлеть увиденное на пленку. Да.

И это соответствовало истине. Про этот хороший Фотографический Аппарат никто не говорил ничего плохого. Но как бы он или другой ни был хорош, превосходен, удобен, нельзя этим кичиться и унижать достоинство других. Можно ошибиться, считая себя в своем деле незаменимым, несравнимым и тому подобное.

Фотографический Аппарат, о котором рассказывает эта сказка, жил в мастерской Художника. Там же среди многих других вещей жила и Кисть, которую очень любил Художник и после работы тщательно промывал ее в скипидаре и вытирал.

— За что к тебе такое внимание? — однажды спросил Аппарат. — И вообще, что ты за птица? Кто ты такая? Палочка с пучком чужих волос? Ты самая отсталая среди всех инструментов. Какой ты появилась на свет, такой и осталась теперь. Не так ли?

— Да. Вы совершенно правы,—ответила скромно Кисть. — Я ничуть не изменилась за последние несколько десятков столетий.

— И тебе не стыдно? Все в мире движется и улучшается, кроме тебя, — рассуждал Аппарат. — Ты медлительна. То, что ты можешь воспроизвести на холсте за неделю, я делаю в сотую долю секунды. Миг — и готова фотография. И не просто фотография, а цветная. Красочная фотография.

— Да, вы совершенно правы, — так же скромно сказала

Кисть. — Но Художник почему-то предпочитает пользоваться мною и тратить на портреты многие дни, недели и месяцы... Вы поговорите о своих преимуществах с ним. Или с кем-нибудь другим.

В это время послышался звонкий голос Девушки, еще не дорисованной Художником. У нее не были закончены руки. Но, несмотря на это, она была живой и умной. Больше года трудился Художник, чтобы создать на холсте такую прекрасную Девушку.

Девушка спросила:

— А в человеческую душу вы тоже можете заглянуть своим стеклянным глазом?

Аппарат смутился. Покраснел. Он твердо знал, что не мог этого сделать. Но ему очень хотелось выяснить, как Художник при помощи Кисти, такого простого и несовершенного инструмента, заглядывает в человеческую душу и переносит ее чудесное очарование на холст.

— Может быть, вы объясните мне, как это происходит? — обратился он снова к Девушке. — Может быть, в Кисти заключены особые, не известные мне свойства?

Девушка не стала отвечать. И правильно сделала. Аппарат все равно бы не понял сказочного волшебства Кисти художника, резца ваятеля, пера поэта, смычка музыканта, иглы вышивальщицы и многих других простейших инструментов, не знающих старости и смерти.

Фотографический Аппарат не мог понять этого. Потому что он был хотя и очень зоркий, очень хороший и очень послушный, но бездушный аппарат. Без мыслей! Без чувств! Без сердца!

ПРО ДВА КОЛЕСА



ОДНОМ новом велосипеде жили-были два колеса. Переднее и Заднее — ведущее и ведомое. Так как ведущее от ведомого отличить иногда очень трудно и на этой почве нередко возникают споры, велосипедные колеса тоже заспорили.

Заднее Колесо утверждало:

— Если я двигаю велосипед, если я его веду — значит, я и есть ведущее колесо.

Переднее Колесо на это резонно отвечало:

— Где видано, чтобы ведущий шел позади, а ведомый спереди? Я качусь первым и веду тебя по моему следу. Значит, я и есть ведущее колесо.

На это Заднее Колесо приводило пример с пастухом и баранами.

— Когда пастух гонит баранов, он тоже находится позади, но никто не скажет, что бараны ведут пастуха, а не он их.

— Если ты позволяешь себе сравнивать меня с животными, — возмущалось Переднее Колесо, — то не лучше ли представить себе осла, который, идя на поводу за хозяином, стал бы утверждать себя ведущим, а хозяина ведомым.

— Как тебе не стыдно? — взвизгнуло на повороте Заднее Колесо. — Это нелепое сравнение по внешнему сходству. Нужно смотреть глубже. Мои спицы напряжены до предела. Я, изнашивая преждевременно мою шину, привожу тебя в движение. И ты бежишь налегке. На холостом ходу. Да еще виляешь, куда тебе вздумается, и при этом называешь себя ведущим колесом.

— Перестань говорить глупости, — снова возразило Переднее Колесо. — Я не виляю, куда мне вздумается. Я веду тебя, выбирая лучшую дорогу. Я первым принимаю на себя

толчки и удары. Моя камера в проколах и заплатах. Кому бы нужно было твое прямолинейное ограниченное движение, если бы не мое лавирование? Я веду тебя. Я! — кричало, дребезжа щитком, предохраняющим от грязи, Переднее Колесо. — Без меня нет Велосипеда. Велосипед — это я!

— Тогда отвинтись и катись! — предложило Заднее Колесо. — Посмотрим, каким будет твое качение без моих усилий... Посмот... — недоговорило оно, свалившись набок, потому что в этот миг Переднее Колесо отвинтилось и покатилось в одиночку... Оно катилось метр, два, три... тридцать метров, а затем тоже свалилось набок.

Пролежав так некоторое время на обочине дороги, колеса поняли, что без ведущих колес нет движения, как и без ведомых. Они убедились на собственном опыте, что ведущим и ведомым быть одинаково трудно и одинаково почетно даже в таком простейшем объединении, как велосипед.



НЕУСТУПЧИВЫЕ СЕСТРЫ



БЫСТРО бежали с Алтайских гор в полуночную северную сторону две сестры: Катунь да Бия. Ретивые, говорливые и одна другой краше.

Бежали они так, да и встретились. Слились. Вместе потекли в одном русле. Потекли сестры-реки Бия да Катунь в одном русле да и заспорили: как называться реке, которая из них составилась.

— Я сама по себе текла, — говорит Катунь Бие, — а ты в меня впала. По мне и должна называться большая река — Катунью.

А вторая сестра, Бия, тоже из неуступчивых была.

— Не я в тебя, Катунь, впала, а ты в мои воды влилась. По мне и называться большой реке — Бией.

Долго бы так они спорили, волновались, пенились, из берегов выходили, да человек на ту пору случился. Землепроходец. Из русских людей. Они к нему подмываться стали.

Так и ластятся, плещутся, к его ногам подступают. Каждая свою рыбу ему на берег выкидывает. Каждая свое имя от Алтайских гор до полуночного холодного моря пронести хочет да себя прославить.

А русский человек из простых был. Не любил он, когда себя выставляют, за славой гоняются, родной сестры-брата ради этого не жалеют. И сказал рекам:

— Рассужу я вас, сестры, по совести. Ни той, ни другой обидно не будет. Обе-две вы в одном имени большой реки жить будете.

Сказал он и назвал большую реку Обью.

Так неуступчивые, норовистые, порожистые сестры, сливая воды, потеряли свои имена и потекли обедве Обью. Великой сибирской рекой. Все ее знают, красавицу, а про Бию и Катунь мало кто вспоминает.

МЕЛКИЕ КАЛОШИ



Х!.. ВЫ ДАЖЕ не можете представить, как мне не хочется рассказывать эту прескверную историю о мелких калошах. Она произошла буквально на днях в передней нашей большой квартиры, в которой так много хороших людей и вещей. И мне так неприятно, что это все произошло у нас в передней.

Началась эта история с пустяков. Тетя Луша купила полную кошелку картофеля, поставила ее в передней подле вешалки, а сама ушла.

Когда тетя Луша ушла и оставила кошелку рядом с калошами, все услышали радостное приветствие:

— Здравствуйте, милые сестрички!

Как вы думаете, кто и кого приветствовал подобным образом?

Не ломайте голову, вы никогда не догадаетесь. Это приветствовали розовые крупные картофелины новые резиновые калоши.

— Как мы рады встрече с вами, милые сестрички! — перебивая одна другую, кричали круглолицые картофелины. — Какие вы красивые! Как вы ослепительно блестите!

Калоши, пренебрежительно посмотрев на картофель, затем надменно сверкнув лаком, довольно грубо ответили:

— Во-первых, мы вам никакие не сестры. Мы резиновые и лаковые. Во-вторых, общего между нами только первые две буквы наших имен. И, в-третьих, мы не желаем с вами разговаривать.

Картофелины, потрясенные высокомерием калош, умолкли. Зато вместо них стала говорить трость.

Это была весьма уважаемая трость ученого. Она, бывая с ним всюду, очень многое знала. Ей пришлось походить

с ученым по разным местам и повидать чрезвычайно интересные вещи. Ей было что рассказать другим. Но по своему характеру трость была молчалива. Именно за это ее и любил ученый. Она не мешала ему размышлять. Но на этот раз трость не захотела молчать и, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Бывают же такие зазнайки, которые, попадая всего лишь в переднюю столичной квартиры, задирают носы перед своей простой родней!

— Вот именно, — подтвердило драповое пальто. — Так и я могло возгордиться моим модным покроем и не узнать своего родного отца — тонкорунного барана.

— И я, — сказала щетка. — И я могла бы отрицать свое родство с той, на хребте которой я росла когда-то щетиной.

На это легкомысленные калоши, вместо того чтобы задуматься и сделать необходимые для себя выводы, громко расхохотались. И всем стало ясно, что они не только мелки, надменны, но и глупы. Глупы!

Трость ученого, поняв, что с такими гордячками церемониться нечего, сказала:

— Какая, однако, у калош короткая память! Ее, видимо, затмил их лаковый блеск.



— О чем ты говоришь, старая суковатая палка? — стали защищаться калоши. — Мы все очень хорошо помним.

— Ах так! — воскликнула трость. — Тогда скажите, сударыни, откуда и как вы появились в нашей квартире?

— Мы появились из магазина, — ответили калоши. — Нас там купила очень милая бабушка.

— А где вы были до магазина? — снова спросила трость.

— До магазина мы пеклись в печи калошной фабрики.

— А до печи?

— А до печи мы были резиновым тестом, из которого нас слепили на фабрике.

— А кем вы были до резинового теста? — допрашивала трость при общем молчании всех находившихся в передней.

— До резинового теста, — слегка заикаясь, отвечали калоши, — мы были спиртом.

— А кем вы были до спирта? Кем? — задала трость последний, решающий и убийственный вопрос высокомерным калошам.

Калоши сделали вид, что они напрягают память и не могут вспомнить. Хотя та и другая отлично знали, кем они были до того, как стать спиртом.

— Тогда я напомню вам, — торжествующе объявила трость. — До того как стать спиртом, вы были картофелинами и росли на одном поле и, может быть, даже в одном гнезде с вашими родными сестрами. Только вы росли не такими крупными и красивыми, как они, а мелкими, плохонькими плодами, которые обычно отправляют в переработку на спирт.

Трость умолкла. В передней стало очень тихо. Всем было очень неприятно, что эта история произошла в квартире, где жили очень хорошие люди, которые относились с уважением к окружающим.

Мне больно рассказывать вам об этом, тем более что калоши не попросили извинения у своих родных сестер.

Какие мелкие бывают на свете калоши. Фу!..

СКРИПУЧАЯ ДВЕРЬ



В НОВУЮ избу навесили хорошую Дверь. Красивую Дверь. И все ее хвалили. Потому что Дверь легко открывалась и плотно закрывалась, не пропускала зимнюю стужу. Вообще Дверь не в чем было упрекнуть, и о ней перестали говорить. Зато в избе очень много разговаривали о рамах. И как о них можно было не говорить, когда они были плохими. С трудом открывались и закрывались. Набухали. Пропускали холод.

Рамам уделялось много внимания, и это обозлило завистливую Дверь.

— Вот вы как, — сказала она, — я покажу вам, как не замечать меня, — и стала коробиться, кривиться, скрипеть.

Ее подстругивали, выпрямляли, утепляли. Нянчились с нею сколько могли. Ее петли часто смазывали маслом, а она, не унимаясь, скрипела. Скрипела с таким остервенением, что это стало невыносимым для окружающих.

Тогда ее сняли с петель и выбросили в дровяник. На ее место навесили другую. Обычную сосновую дверь, которая честно служит в избе до сих пор, зная, что легко открываться и плотно закрываться вовсе не какие-то особенные достоинства, а ее дверные обязанности.

Выброшенная же в дровяник Дверь вскоре поняла, что вне избы и без избы она ничего собой не представляет. Ровным счетом ничего. Даже скрипеть не может вне избы.

Такова печальная история одной зазнавшейся Двери, которая оказалась в одиночестве.

ШУМЛИВОЕ МОРЕ



О ЧЕМ только не рассказывает Говорливый камень на реке Вишере! Хорошая у него память. Он знает даже и то, что было много миллионов лет назад. Вот что рассказал он как-то прибрежным хвойным лесам и крутым берегам Вишеры.

Может быть, вы не поверите, только там, где сейчас растут леса, высятся Уральские горы и наливаются колосья ржи и пшеницы, было Пермское море. Оно было достаточно велико, но мелководно, а поэтому шумливо, чванливо и заносчиво.

Заносчивость Пермского моря переходила всякие границы. Оно стало грубить родной матери — Земле.

— Кто ты такая? — однажды сказало Море. — Зачем ты нужна? Из-за твоих берегов и островов негде разгуляться моим волнам.

— Перестань дерзить, — предупредила его мать-Земля. — Я породила тебя. Я — твои берега, твое дно. Я — чаша, в которую ты налито.

— Что-о? Что ты сказала? — вскипело Пермское море. — Да я тебя дочиста затоплю и смою твои негодные леса вместе с холмами, горами и полянами.

Сказав так, Море заключило союз с морским разбойником Ветром и кинулось на Землю.

Увидев это, деревья, звери, травы, птицы и насекомые очень испугались и с плачем бросились к своей матери-Земле.

— Родимая! Не дай нам пропасть! Что будет с нами, когда Море затопит тебя? Мы не хотим превращаться в рыб и морские растения.

— Не буйствуй, глупец! — еще раз предупредила Земля. — Перестань водить дружбу с этим бездомным бродягой Ветром. Расти вглубь, а не вширь. Иначе у тебя не хватит воды и ты обмелеешь, а обмелев — высохнешь.

А Море в ответ на это подняло свою бесчестную мутную волну на родную мать и крикнуло угрожая:

— Молчи, старуха! Готовься к своему последнему часу.

Тогда мать-Земля распрямила свою грудь. Возвысилась Уральскими горами. Потом она сделала глубокий вздох, и дно Пермского моря поднялось выше его мутных и шумливых волн.

Вскоре Море стекло Печорой, Камой, Вычегдой, Вяткой и другими реками в разные моря. На его месте зазеленели леса, поселились звери и птицы. А много тысяч лет спустя появился человек, построивший деревни, села и города.

Вот что рассказал Говорливый камень, который высится и по сей день на реке Вишере.



ЧЕТЫРЕ БРАТА



ОДНОЙ матери было четыре сына. Всем хороши удались сыновья, только друг дружку братьями признавать не хотели. Ничего схожего между собой не находили.

— Уж если, — говорит один брат, — кого и вздумаю я братом назвать, так только лебяжий пух или, на худой конец, хлопковое волокно.

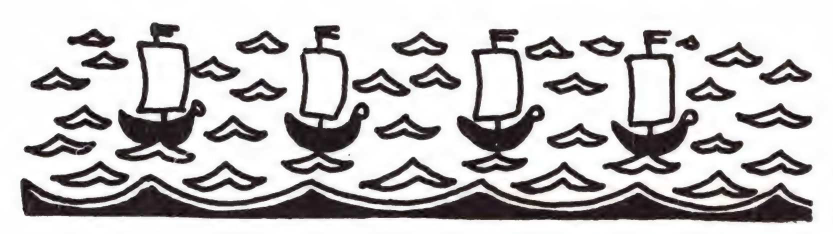
— А я, — говорит второй брат, — на стекло похожу. Только его и могу своим братом признать.

— А я белому дыму брат, — говорит третий. — Недаром нас одного с другим путают.

— А я ни на кого не похож, — сказал четвертый брат. — И некого мне братцем назвать, разве только слезы.

Так и по сей день спорят четыре родных брата: белый Снег, синий Лед, густой Туман да частый Дождь — друг друга братьями не называют, а матушку Воду все четверо родимой матерью величают.

Бывает такое на свете... Не всегда брат брата узнает!



ПАСТУХ И СКРИПКА

ОНА РОДИЛАСЬ в мастерской деревенского столяра, большого любителя музыки. Ее красота удивляла даже больших мастеров скрипичных инструментов. Говорят, что столяр вдунул в нее свою душу и она от этого стала звучать как живая.

Всякий проходивший мимо дома столяра останавливался, когда она пела о солнце и небе, о лесе и говорливых ручейках, золотистых полях и цветении садов родной чешской деревни.

Слушая ее, умолкали певчие птицы. Только один из лучших соловьев округи отваживался иногда вторить ей своей песней. А досталась она Ослу, который притворился музыкантом.

Осел, выбившись в подмастерья, завладел после смерти одинокого столяра всем его имуществом и этой прекрасной Скрипкой.

Это было ужасно. Играя на Скрипке собачьи вальсы, конские галопы и ослиные рапсодии, он довел Скрипку до неузнаваемости. Ее тонкие певучие струны стали походить на разлохмаченные шнурки. Дека оказалась в царапинах и пятнах. Гриф из черного превратился в серый. Ослабли расшатанные колки. Он уже играл на ней, как на балалайке, доламывая последнее.

Однажды в бродячем балагане Осел увидел клоуна, игравшего смычком на пиле. То сгибая, то разгибая пилу, клоун добивался подобия мелодии, производившей на некоторых, в том числе на Осла, неотразимое впечатление.

Вскоре Осел приобрел у клоуна пилу, а Скрипку забросил на чердак.

Теперь ей оставалось только пылиться, слушать в долгие зимние ночи плачущий вой ветра в трубе, а в осенние дни сыреть, расклеиваться и приходить в окончательную негодность.

Нельзя без слез и горькой обиды рассказывать о несчастной Скрипке. Оскорбленная и униженная, она переживала каждый звук, доносившийся на чердак через слуховое окно. В ней находили отзвук песня жаворонка, тонкий свист синицы и далекая причудливая игра Пастуха на самодельной дудке.

С каждым днем игра Пастуха становилась лучше и выразительнее, хотя в его дудке было всего лишь два или три лада и ей недоставало высоких и чистых звуков. Их особенно не хватало в утренней песне, когда Пастух, проходя по селу, приглашал людей проснуться и выгонять своих коров.

Однажды Скрипка помимо своей воли дополнила мелодию песни высокими и чистыми звуками. Они вырвались сами собой из ее души, так исстрадавшейся по музыке.

Все это произошло до восхода солнца. И никто, кроме Пастуха, не слышал, как пастуший рожок разбудил в Скрипке умертвленное звучание.

Теперь он каждое утро переговаривался песней с незнакомой Скрипкой, очаровавшей его слух до такой степени, что однажды ночью он прокрался на чердак.

Это была встреча в темноте. Встреча у дымоходной трубы дома.

— Как ты прекрасна! — сказал он Скрипке.

— Если бы ты увидел меня днем... — ответила Скрипка. — Ты бы ужаснулся.

— Нет, нет, — твердил он, касаясь ее грифа своими тонкими и нежными пальцами. — На свете нет ран, которые не залечиваются.

Скрипка, веря Пастуху, однажды сказала:

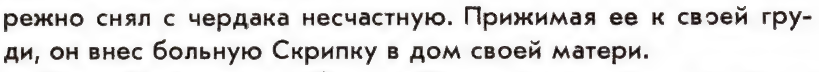
— Как я хочу, чтобы ты взял меня отсюда. Но это невоз-

можно. Тебя накажут за похищение... Нужно действовать умнее.



Женская хитрость была присуща и Скрипке. Она посоветовала Пастуху сыграть на дудке перед окнами Осла душераздирающий вой волка, попавшего в охотничью яму.

Он так и сделал. Осел был в неописуемом восторге и тут же предложил Пастуху променять его дудку на визгливую пилу и пообещал прибавить к ней Скрипку.

Состоялся обмен. Пастух, забыв о пиле, бе-

режно снял с чердака несчастную. Прижимая ее к своей груди, он внес больную Скрипку в дом своей матери.

Мать бережно освободила Скрипку от пыли и паутины, а затем, укутав ее в мягкое, велела сыну отправиться в город к лучшему из скрипичных докторов.

Скрипичный доктор произвел все необходимые операции и процедуры. Он укрепил колки, подклеил деку, заменил струны и отполировал скрипку до зеркального блеска. И когда пастух увидел ее сверкающей и нарядной, когда он, нежно коснувшись ее струн, услышал звуки, от которых сладко кружится голова и замирает сердце, — сквозь слезы сказал ей:

— Я не достоин владеть тобой. Ты так прекрасна! Ты должна звучать в больших городах, а не в нашей маленькой деревне.

— Нет, — возразила Скрипка, — если я буду снова способна звучать, как раньше, то только в твоих руках.

Так и случилось. Кто бы ни пробовал прикоснуться к ней, она отвечала молчанием. Скрипка перестала быть доверчивой и наивной.

Зато Пастух, едва прикоснувшись к ее струнам, заставлял умолкать окружающих.

Это были песни первой радости скрипача и Скрипки, нашедших друг друга в большом мире.

Пастуха и Скрипку вскоре узнали во всей стране. Их слушали затаив дыхание. И никому не приходило в голову, что Скрипка была некогда брошена Ослом на чердак, где она долго находилась в оскорбительном забвении. Да если бы кто-то узнал об этом, то едва ли обратил на это внимание.

Мало ли печальных, несправедливых и грубых историй бывает на свете! Нельзя же позволять им зачеркивать всю жизнь. Прошедшее всегда заслоняется Настоящим, если оно большое, яркое и настоящее — Настоящее. А оно было именно таким у Скрипки, сохранившей в труднейших испытаниях жизни чистоту человеческой души, вдунутой в нее благородным деревенским столяром, знатоком и ценителем Высокой Музыки.



НЕКРАСИВАЯ ЕЛКА



В ДАТСКОМ говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они разговаривали только по-датски.

В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешептывались, друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чем они шепчутся. Зато как только поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать всякий.

Самой болтливой в лесу была Осина. Ее голос, звенящий одиннадцатью тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Береза. А Елка наоборот. Елка была на редкость молчалива и задумчива. Она, в отличие от своих стройных и красивых сестер, росла однобокой и кривой.

Елку не любили ее лесные собратья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к другу — по внешности. По одежке. По красоте ветвей и строению кроны. А Елка была дурнушкой. Это и послужило поводом для насмешек самовлюбленного Ясеня, молодого красавца Клена и Березы с изысканно тонкими ветвями.

Не любили они Елку и потому, что ей оказывал особое внимание Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто садился под елью со своими тетрадями и писал сказки или просто мечтал.

Почему он предпочитал именно ее тень, никто не знал, но болтали в лесу разное.

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Елка, одинок,

некрасив и долговяз. Клен находил, будто Елка специально для Сказочника осыпает мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под нею. Береза городила такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды пришли лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба.

Им казалось, что все кончено. И особенно после того, как старый Дуб был распилен на кряжи и увезен из леса.

Когда дубовая родня оплакивала свежий пень, появился Сказочник. Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зеленого богатыря, трехсотлетнего Дуба. И его слеза капнула на срез пня.

Но слезы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил рассказать сказку.

— Господа, — сказал он по-датски, обращаясь к деревьям, — не угодно ли вам послушать сказку о вашем завтрашнем дне?

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и стали слушать.

— Никому из вас, как, впрочем, и мне, — начал Сказочник, — не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают.

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не более чем утешительным враньем.

Сказочник подал знак. В лесу стало снова тихо.

— А известно ли вам, господа, что Дуб проживет еще сотни и сотни лет, когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет именно им. Так ли уж плохо это, господа деревья?

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, овладев вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой



ковер мягкой еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться в ничто. Спиленные деревья станут домом, мостом, музыкальными инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить поколениям.

— Так ли уж это плохо, господа? — сказал он и продолжил сказку о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на Курильских островах... Стал рассказывать, как некая Осина стала тридцатью тремя корытами.

— Превращение в корыто хотя и не так заманчиво, — сказал он, — но все же стать корытом лучше, чем никем, ничем и не для кого.

— Это верно, — заметила слегка обиженная Осина, — превра-

титься в корыто куда приятнее, нежели стать дровами, — и она покосилась не некрасивую Елку, окидывая ее неприязненным взглядом от корня до вершины.

Заметив этот взгляд, самовлюбленный Ясень спросил Сказочника:

— А почему бы вам не рассказать о еловых дровах?

— Вот именно, — поддержал надменный Клен. — Это бы вселило радужные надежды одной нашей общей знакомой.

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Елку. Он любил ее. Он жалел ее. Но правда выше любви и жалости.

— Господа, — тихо сказал Сказочник, — разве уж так плохо сгореть для других? Ведь должен же кто-то своим огнем радовать детей и согревать их в зимнюю стужу. Должен же кто-то выпекать хлебы и плавить металл.

— Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это делать, — подтвердил Ясень. — Но согласитесь, что все-таки лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой и пеплом.

— Хотя, — усмехнулась Береза, — зола тоже на что-то нужна. Ею, кажется, чистят кастрюли и посыпают тротуары. Так ли уж это плохо, господа? — прошелестела она, издевательски повторяя фразу Сказочника.

Деревья дружно захохотали.

Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в раздумье:

— Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на их могилах. Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Елка! Как знать, может быть, все будет по-другому.

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под некрасивой Елкой жили муравьи. Сказочник давно

уже не появлялся в лесу, и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба — Время и Возраст — сделали свое дело.

— М-да! — сказал Ясень. — Хотя он и ярко горел... хотя нам от него было тепло и радостно, все же он сгорел, как сгорают дрова.

— Вот именно, — подтвердил Клен, ставший еще выше и надменнее. — Если выражаться образно, то он был среди людей не более, чем некрасивая Елка.

Елка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и тонкие струйки смолы катились по ее шершавой коре. Елка не переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит знакомые слова любимых сказок.

Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило свое назначение. У поваленной Сосны обрубили ветки и верхушку, затем доставили ее на корабельную верфь. Она будет мачтой.

Ясень, Клен и Береза были распилены на большие кряжи и затем отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт.

Дошла очередь и до некрасивой Елки. Ее распилили на мелкие чурбаки.

«Так и есть, — подумала Елка, — я стала дровами. Теперь мне только остается сгореть: так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озаряя нас волшебным светом своих сказок».

Судьба Елки повернулась самым неожиданным образом. Елка попала на бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие, плотные листы бумаги.

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать конвертами и совершать на всех видах транспорта почтовые путешествия. Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление...

Елку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В какую? Книга книге рознь. Даже плохой бумаге не всякой книгой лестно стать. А она стала превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она почувствовала тотчас, как на ней появились четко отпечатанные блестящей черной краской дорогие ее сердцу слова...

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в говорящем лесу.

— Неужели мы с вами встретились снова? — сказала Елка, ставшая бумагой, и увидела Сказочника. Он появился на первой странице — отпечатанный великолепными портретными красками.

— Теперь я вижу, — сказала она, — что не все, оказавшись срубленными, умирают.

Искусные руки переплетчика стали одевать книгу в нарядную одежду с золотой отделкой и затейливым тиснением.

Как она красива была теперь! На нее можно было любоваться часами, читать и слушать сутками напролет. Ее бережно брали и очень осторожно листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, возвышали души, согревали сердце, будили ненависть к злу и утверждали светлое.

Вскоре Елка, став книгой, очутилась на серебристой березовой полке в самом лучшем ясеневом шкафу библиотеки.

Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюбленным, как и Ясень в сказочном говорящем лесу. Ясеневый шкаф очень громко хвалился своей новой жилицей на центральной полке:

— Видишь ли ты, Кленовый стол, какое сокровище живет во мне?

— Да, — ответил Кленовый стол. — Какие мы благородные деревья!

— Как бы позавидовала нам некрасивая Елка, если б могла увидеть, во что мы превратились! С какой отличной книгой живем мы теперь в соседстве! Что ты скажешь на это,

старый Дуб? — обратилась Березовая полка к резному потолку.

Мудрый резной потолок усмехнулся с высоты своими замысловатыми узорами и, не проронив ни единого слова, застыл в изумительной орнаментальной улыбке.

Он, видимо, все понял.

Теперь у Елки были все основания произнести сокрушительную отповедь по адресу Клена, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-арабски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех языках мира. Но она ничего не сказала.

Разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии прекрасного.

Вот и все.



СОДЕРЖАНИЕ

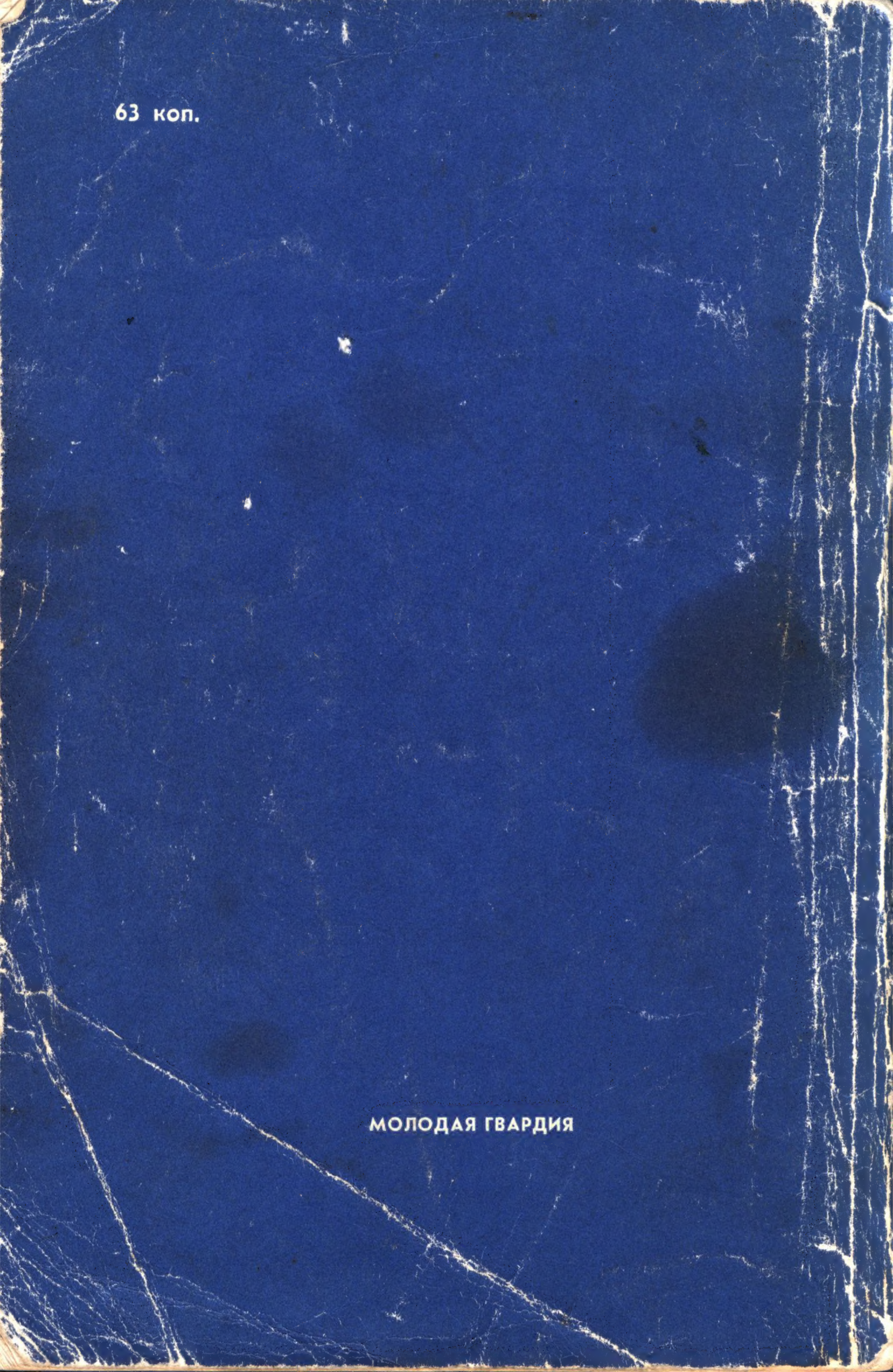
Пермяк Евгений Андреевич

ДЕДУШКИНА КОПИЛКА. Сказки. М., «Молодая гвардия», 1972. 200 с., с илл.

Редактор *И. Пестова* Худож. редактор *В. Плешко* Техн. редактор *В. Савельева* Корректор *К. Пипикова*

Сдано в набор 6/IX 1971 г. Подписано к печати 8/VIII 1972 г. Формат $60\times84^1/_{16}$. Бумага № 1. Печ. л. 12,5 (усл. 11,625). Уч.-изд. л. 9,5. Тираж 100 000 экз. Цена 63 коп. Т. П. 1972 г., № 94. Заказ 1544.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.


63 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ